

Автор-составитель
Людмила
Улицкая
Детство 45–53:
а завтра будет
счастье

Людмила Евгеньевна Улицкая

Детство 45-53: а завтра будет счастье

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6060679

*Детство 45–53 : а завтра будет счастье / авт.-сост. Людмила Улицкая: АСТ; Москва; 2013
ISBN 978-5-17-079644-1*

Аннотация

«...Мы задумали вспомнить о поколении тех, чье детство пришлось на конец войны, послевоенные годы 1945–1953. Для меня это – ровесники, для других – родители...

С тех пор прошло много лет. Вышли из употребления керосинка, колонка, печка. Все больше забытого, и все мы беднеем от этого забвения. Кроме большой истории, которая сохраняет даты и события, важные для страны, есть и «малая» история каждой семьи. Если мы не расскажем своим детям, они не будут знать, что значили слова Сталин, победа, коммуналка, этап, свидание, партсобрание... Не поймут, что значит «довесок» (к буханке хлеба), новые ботинки или военная форма отца... То, о чем мы не смогли рассказать словами, дополнят потрепанные и выцветшие фотографии из семейных альбомов. И мы часто даже не можем вспомнить имена этих людей... Мы должны, мы обязаны делать это усилие воспоминания». ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ.

Содержание

Людмила Улицкая	5
Юлия Ляликова	7
День Победы[1]	9
Вера Верхогляд-Троянова	10
Нина Тайц	11
Вячеслав Ищенко	12
Вячеслав Кабанов	15
Лилия Мельникова	16
Вера Суржикова	17
Юрий Белаковский	18
Ели...	20
Николай Белков (записано внучкой Екатериной Белковой)	22
Анна Сальникова	23
Антонина Кухтина	25
Анатолий Компаниец	27
Юрий Орлов	29
Дмитрий Виноградов	32
Юрий Леонов	33
Ольга Лазарчук	39
Геннадий Шульгин	40
Александр Огарев	41
Лариса Перебейносова	42
Леонид Левин	43
Василий Омельченко	46
Евгения Дымова	48
Светлана Крапивина	50
Ян Хуторянский	51
Татьяна Горина	52
Екатерина Терешкевич	53
Василий Омельченко	54
Пили...	58
Борис Иванов	59
Валентина Никитина	63
Андрей Красулин	64
Людмила Улицкая	65
Мылись...	66
Леонид Добровольский	67
Татьяна Жданова	69
Марина Краевская	73
Ирина Безуглая	74
Одевались...	75
Людмила Кожурина	76
Леонид Добровольский	78
Наталья Гаврилова	79
Елена Шор	80
Владимир Розанцев	84

История с поркой	84
История о беличьей шубке	84
Людмила Фрейдлин	86
Эдуард Буйновский	88
Ирина Безуглая	90
Конец ознакомительного фрагмента.	91

Детство 45–53: а завтра будет счастье автор-составитель Людмила Улицкая

Людмила Улицкая Вспоминаем вместе...

*«Времена не выбирают,
в них живут и умирают...»*

Александр Кушнер

Ни история, ни география не имеют нравственного измерения. Его вносит человек. Иногда мы говорим: «жестокое времена». Но все времена по-своему жестоки. И по-своему интересны. Время создает определенные человеческие характеры, а что определяет характер времени? Вот неразрешимый вопрос!

Одно поколение сменяет другое, и каждое имеет свою собственную физиономию, свои неповторимые черты, особенности. Мы задумали вспомнить о поколении тех, чье детство пришлось на конец войны, послевоенные годы 1945–1953. Для меня это – ровесники, для других – родители, даже бабушки-дедушки...

Эта книга собрана из драгоценных воспоминаний разных людей, наших современников. Писем пришло очень много, больше тысячи, и поэтому я не могу называть здесь имен всех наших корреспондентов – благодарна всем, кто взял на себя труд разворошить давно забытое, встревожить прошлое, порой очень мучительное. Может быть, пережить горькие минуты и даже пролить слезы. Самому младшему нашему корреспонденту двенадцать лет, самому старшему – девяносто три года. Среди написавших нам есть человек, для которого эти записки стали его последним делом в жизни, – вдова Германа Кузнецова сообщила нам, что ее муж умер в больнице, едва успев закончить свое письмо.

Каждое письмо – драгоценный документ времени. Вне зависимости от того, попало оно в этот сборник или нет, хорошо уже и то, что в семьях останутся эти письма: из прошлого в будущее. Сложенные вместе, отрывки из писем людей разного возраста, социального происхождения и образовательного уровня меняют отношение к событиям прошлого, расставляют акценты иные, чем те, к которым мы давно привыкли. Они показывают изнанку советского мифа, правду жизни маленького человека, которому дана одна-единственная жизнь во времени, «которого не выбирают»...

Многие часы я провела с этими бесхитростными и правдивыми документами и нашла в них великие образцы сострадания и милосердия. Многожды перечитав и переворошив полученные письма, прониклась чувством глубокого единомыслия, одиночества с народом, среди которого живу. Может быть, впервые в жизни. Но в этом множестве людей я вижу все равно отдельные лица авторов этой книги, большинство которых мне глубоко симпатичны, других я полюбила, а некоторых признала за учителей и праведников. В книге довольно много фотографий авторов писем, но есть и фотографии, которые передают атмосферу тех лет.

До сего времени акты великой жестокости власти по отношению к своему народу – инвалидам войны, ветеранам, сиротам, старикам – загромождали мне отчасти полную картину времени, и только теперь я поняла, в какой загадочный узел завязаны лучшие качества нашего народа и его худшие черты, которые начинают проявляться у его представителей, когда они оказываются обложены неограниченной и бесконтрольной, да хоть какой-то, властью. Даже мне, рожденной в середине войны, пережившей скучные и тяжелые послевоен-

ные времена, открылась какая-то новая правда о характере нашего народа – простодушном, бесконечно терпеливом, мужественном и милосердном и о природе власти – всегда бесчеловечной и циничной. Этот контраст я и восприняла как открытие. Однако объяснения такому положению вещей я не нашла. Это продолжает меня тревожить: какая такая тайна заложена в этом необъяснимом противоречии? Впрочем, среди писем, вызвавших во мне глубокие чувства, было несколько, описывающих факты чрезвычайной жестокости по отношению к детям-сиротам, невиданного безразличия к младенцам, оставленным на попечение работникам яслей и детских домов. Значит, сидят где-то в глубинах человеческой натуры потенциалы разные, добро и зло ведут свою борьбу именно на этом персональном уровне.

Русский философ Николай Бердяев считал, что «русская ментальность сильно поляризована и совмещает в себе противоположности (деспотизм – анархия, жестокость и склонность к насилию – доброта и человечность...).». Одним из объяснений таких особенностей национального характера он полагал тугое пеленание младенцев, которое было в обыкновении до сравнительно недавнего времени. Мыслители более позднего времени отмечали такую черту русского менталитета, как «поглощенность будущим, отсутствие личностного сознания и, следовательно, ответственности за принятие решений в ситуации риска и неопределенности...»

Наконец, приведу слова основоположника всей нашей культуры, умнейшего и проницательного Александра Сергеевича Пушкина: «Наша общественная жизнь весьма печальна. Это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, к справедливости и правде, это циничное презрение к мысли и человеческому достоинству действительно приводит в отчаяние». Эти слова не устарели и по сей день.

Большой радостью для меня было письмо Юлии Николаевны Ляликовой, которым я и открываю этот сборник. Я думаю, что она лучше меня выразила чувства, которые владеют и мною, когда я оглядываюсь назад.

Юлия Ляликова Послание в неведомое

Однажды осенью я шла дворами по каким-то своим надобностям, и дорога пролегла неподалеку от обычной мусорки. Стараясь «не вступить» и не вдохнуть специфических ароматов, я наткнулась взглядом на лежащий между мусорным контейнером и тропинкой старый альбом. Его страницы стояли веером, и ветер «листал» их, то приоткрывая, то захлопывая. Там были фотографии! Я остолбенела. Что это? Господи, что это?

Кто выбросил? Дети, внуки умерших стариков? Ну не сами же хозяева. Может быть, это сделали новые хозяева квартиры, выбрасывая «хлам» прежних жильцов...

В любом случае мне представилась самой вероятной версия, что хозяев нет в живых, а альбом выбросили все-таки не потомки, а чужие люди. Согласиться с тем, что так могут поступить «наследники», просто невозможно. На некоторое время я в полном ступоре забыла, куда и зачем шла. Не знаю, почему я не подняла этот альбом, – побоялась лезть в грязную лужу? Теперь жалею, что не сделала этого. А тогда, повернув обратно в сторону дома, не могла отделаться от воображаемой картины: альбомы, фотографии моей семьи валяются где-то у помойки, их разносит ветер, бросая в грязные лужи. А мимо идут люди, идут люди...

Я начала лихорадочно думать, как сделать так, чтобы такого не случилось. И, грешница, подумала, что никто не даст гарантии от *такой* смерти памяти, собираемой и хранимой десятилетиями в каждой семье, о родных, близких, если не предпринять каких-то, пока не знаю каких, мер. Дело в том, что жизнь за последние пятнадцать-двадцать лет так изменилась – ее формы, так называемые артефакты, из физических перешли в виртуальные, не занимающие много места, не нарушающие современный стиль или еще что-либо. Многое просто стало «немодным» – кажется, именно это произошло со старыми семейными альбомами. Кто-то спрятал их подальше в шкафы. Но выбрасывать, мне кажется, еще рано, и эти предметы не заслужили такой судьбы. Можно выбросить старый шкаф, диван, стулья, но память?

Ну да что попусту рассуждать; надо, пока не поздно, продумать свои собственные меры, чтобы ничто и никто не мог поглумиться над святынями (ни время, ни обстоятельства, ни люди)...

Иногда кажется, что новая жизнь жестко и жестоко отрицает старую вместе с ее еще живыми носителями или вещественными знаками. Обижаются на молодежь старики, не находя себе места в новых, не всегда понятных реалиях жизни. Новодел вымещает или грубо растаптывает знаки старины. Новые города не предполагают комфортного существования стариков. А старики в деревнях – это одни горчайшие слезы.

В новом ритме и стиле жизни кажется, что кроме стариков некому будет печалиться об утратах памяти. Молодым оглядываться и смотреть под ноги некогда.

Когда я, по-советски комплексую, видно, не выдавив еще из себя совка, размышляла о том, а стоит ли вообще писать, то есть оставлять память о моих предках, среди которых, как оказалось, нет ни одного генерала (слава тебе Господи!), ни одного депутата (и за это отдельное спасибо), во мне рос и рос какой-то еще не осознанный протест против признания «малозначимости» родных мне людей. Я ощущала какую-то неправду и несправедливость. Вот я даже и сейчас как будто перед кем-то не знаю в чем оправдываюсь.

И вдруг что-то сложилось! Ничего себе – маленькие люди, винтики да болтики. По жизням моих родных прошли колеса всех российских исторических событий, оставив в их судьбах неизгладимые, в основном трагические отметины. Нет уж, без таких, как мои родные, миллионов россиян никакое колесо истории не сделало бы и оборота и не было бы

никакой страны, ни великой и ни могучей. А была бы территория, переходящая из рук одних правителей в руки других. И что бы без них, не упомянутых в хрониках, делали все вместе взятые цари, генералиссимусы и генеральные секретари?

Вот представьте, был бы в семье какой-нибудь генерал или академик, да всё вокруг них бы и крутилось – вот они такие и сякие, смотрите, дети, как надо жить! Учитесь и гордитесь! А так, в отсутствие в нашем древе таких гигантов жизненного успеха, я могу уделить каждому, кого знала и любила, столько внимания, сколько позволит моя память, без оглядки на чины и звания.

И ведь в каждой семье есть что сказать о своих близких. Я вдруг поняла, что они, наши предки, не только имеют право на память о них, а мы, как любящие их всех, обязаны сохранить хотя бы те крохи свидетельств об их жизни, что остались, и передать их своим детям.

День Победы¹

Чем больше времени проходит от 9 мая 1945 года, тем более пышно празднуется этот день. Участники стихийного народного праздника этого незабываемого дня запомнили его на всю жизнь. При жизни Сталина день 9 мая отмечался как государственный праздник только два года – в 1946-м и в 1947-м. С 1948 года 9 мая не считалось государственным праздником, был рабочий день, – «красным днем календаря» стал только двадцать лет спустя после Победы, в 1965 году.

Первый парад Победы состоялся 24 июня 1945 года, кинохроника сохранила для нас известные кадры, снятые в тот день: брошенные к мавзолею Ленина немецкие знамена. Командовал парадом маршал Рокоссовский, а принимал парад маршал Жуков. Сталин был на трибуне. Существует мнение, что генералиссимус не считал, что главная цель достигнута: Россия не получила всей Европы, а только восточную часть ее. О мировой социалистической революции теперь и мечтать было нельзя. Парад был демонстрацией мощи Советской армии, разгромившей фашистскую Германию.

Пятьдесят лет военные парады не проводились, а в 1995-м, в пятидесятую годовщину Победы, снова провели военный парад. И далее это стало традицией.

С 2008 года в парадах стала участвовать тяжелая военная техника. Наверное, это должно питать чувство патриотизма и национальной гордости, демонстрировать мощь государства. Стоит это очень дорого: только ремонт асфальтового покрытия, проводимый после репетиций парада и самого парада, обходится городской казне в 40 млн рублей ежегодно. В 2012 году 64 млн рублей ушли на разгон облаков в день праздника. Убытки от транспортных пробок в 2011 году были оценены еще в 5 млн рублей. Нельзя сказать, что в связи с такими огромными тратами очень порадовало заявление властей о том, что в 2012 году еще 36 тысяч ветеранов получают отдельные квартиры. В стране сейчас проживает 364 тысячи ветеранов, 220 тысяч из них уже получили жилье. Если принять во внимание, что с окончания войны прошло уже более шестидесяти лет, то оставшимся очередникам придется жить не менее 110 лет, чтобы дожить до получения отдельной квартиры. Рассчитывать на это не приходится.

Каждое событие в нашей стране рассказывается не одним, а несколькими способами: есть правда солдатская и генеральская, свидетельства медсестер, выносящих раненых с поля боя, и начальников госпиталей, доклады партийных руководителей и письма «простого советского заключенного».

Государство дальнорюк: мелочей, как правило, не замечает, видит только большую карту страны, оперирует цифрами с большим количеством нулей. Отдельно взятый человек близорук: в его поле зрения котелок с кашей, теплушка, кипятилок, письмо от жены, кусок мыла, выданный к «банному дню», хлебные карточки...

Но праздник есть праздник, и он поистине народный. Об этом свидетельствуют письма людей, очевидцев того великого дня, 9 мая 1945 года, стихийного уличного ликования, радости и слез, которые волной прокатились от Красной площади до площадей больших и малых городов, поселков, деревенских улиц...

¹ Каждая глава книги открывается вступительным словом Людмилы Улицкой.

Вера Верхогляд-Троянова

Победа

1945 год. В начале мая (до 9 мая) по Ленинграду разбрасывали с самолетов листовки, в которых говорилось о наших военных успехах. Помню солнечный радостный день, бросают листовки, а я пытаюсь поймать их, стоя на балконе.

День Победы – 9 мая. День безумной радости и счастья. Толпы людей двинулись на Дворцовую площадь. Транспорт на Невском проспекте забит людьми, все едут на Дворцовую, всем хотелось собраться вместе и вместе радоваться. Я ехала со старшим братом Эриком.

Дворцовая площадь. Люди пляшут, поют, целуются, кричат что-то. Прожекторы. Кое-где установлены экраны и показывают фильмы (вероятно, документальные).

Наверное, были и люди, которые плакали от горя, оплакивая погибших, но я их не помню.

Потом салют.

Нина Тайц

День Победы с сыном Юрой

На всю жизнь, как уверял Юрочка, запомнил он День Победы (ему было тогда два года). Я с Юрочкой и с двумя моими подругами присоединились к многочисленной демонстрации, которая возникла стихийно, как только по радио (голос Левитана!) сообщили о капитуляции Германии, и пошли по улице Горького к американскому посольству (тогда оно располагалось на Моховой), а затем на Красную площадь. Народ все прибывал, чужие люди целовались, военных качали. Мы попали в страшную давку. Юрочку передавали с рук на руки, был грандиозный фейерверк. Юра часто вспоминал этот день, и иллюминацию, и как он плыл над толпой.

Как и многие дети послевоенных лет, Юрочка очень увлекался всем военным. Каждый день к его рубашкам я пришивала погоны, на шапочке у него была звезда.

Смешной случай: Юре четыре года. Мы с ним в кафе-мороженом на улице Горького. На курточке его прикреплена орденская колодка. С нами сидел мужчина, который очень внимательно смотрел на Юрочку, и, когда тот обратился ко мне с каким-то вопросом, сказав «мама», этот человек удивленно произнес: «А я думал, что это заслуженный лилипут республики!»

В годовщину Дня Победы Юра и его друг прыгали на диване и кричали: «Ура! Мы два Ленина! Мы два Сталина!»

Вячеслав Ищенко

Базар сгорел...

В ночь с 8 на 9 мая 1945 года меня разбудил душераздирающий крик. Я спал в «темной» комнате – была у нас такая, где совсем не было окон. Она, эта комната, надо сказать, изолирована была неплохо от остальной квартиры, но крик был таким резким и сильным, что его слышал даже я. Что уж говорить о других домочадцах и соседях по двору. Потом я узнал, что кричала Тася Ежова, подруга моих сестер, веселая и добрая девушка. Она кричала что-то для меня совершенно неразборчивое, но мне в ее словах почему-то послышалось, что... сгорел базар. Да, да, наш гурьевский городской базар, без которого невозможно представить жизнь того времени. Там покупали буквально все – от хлеба до сладких красных петушков на палочке. Может быть, именно поэтому я своим детским сознанием не мог представить худшего бедствия, чем потерю базара.

Но она кричала о Победе.

Потом у взрослых началась суета, а я уснул.

Проснулся утром, выглянул в окно из большой комнаты и увидел, что какой-то дядька прибывает к нашим воротам флаг. И опять наваждение: мне показалось, что красное полотнище оторочено широкой черной полосой. Откуда все это явилось в моих ощущениях – сгоревший базар, траурный флаг? Не знаю.

Потом я пришел на кухню и увидел, что матушка на столе месит тесто. Это был явный признак большого праздника. Я спросил: что, разве праздник? И мать ответила, улыбаясь и плача:

– Победа, сынок! Война кончилась...

Тут же она указала на прибитый к стене отрывной численник и сказала, что теперь эта черная девятка на нем будет красной. Странно, что нерабочим днем 9 мая стало, кажется, только в 1965 году.

Чуть позже я видел на улицах рыдающих и обнимающихся людей, толпу у магазина, куда меня, несмотря на мое малолетство, уже иногда посылали за покупками.

Фронтовиков окружали люди, что-то горячо говорили им, обнимали, целовали. У нас во дворе было весело и радостно.

В Гурьев пришла Победа.



Фото ИТАР-ТАСС



Фото «РИА Новости»

Фото ИТАР-ТАСС



Вячеслав Кабанов

Сухое вино

Был май, год сорок пятый. И вот случился переполох. Не помню, чем я был занят, когда возник этот шум. Все бежали во двор. Там командиры стреляли вверх из пистолетов. Женщины плакали и смеялись. И тогда я услышал слово:

– Победа!

А баба Дуня сказала, что теперь моя мама скоро вернется ко мне.

Но мама вернулась нескоро.

Прошло девять месяцев. Было темное зимнее утро. Я проснулся от шума за дверью и как-то сразу все понял. Дверь приоткрылась, и... Не буду про это писать.

В последнее время все меня уверяли, что маму я не узнаю, что был слишком мал, что не могу ее помнить, от мая сорок первого прошло почти пять лет, а мне тогда было только четыре, значит, с мамой я прожил меньше, чем без мамы, и не видел ее фотографий...

Я не спорил. Зачем было спорить? И мне не надо было фотографий. Я помнил маму и видел ее так же отчетливо, как наутро после того, как она читала мне перед сном «Айболита»...

В доме стали бывать военные. Веселые, шумные. Командиры. Военные гости принесли вино, угощали. Наши отказывались, а один командир сказал:

– Это же сухое вино!

Я удивился, спросил, и тогда командир объяснил, что сухое – это такое вино, что можно опустить палец в стакан, а вынешь, и палец сухой.

Этим знанием я довольствовался несколько лет.

Лилия Мельникова

Лето после войны

9 мая 1945 года страна праздновала Победу. Маленький тихий городок на берегу Азовского моря наконец-то вздохнул свободно.

Все ужасы мучительной и долгой войны остались позади. Еще царили разруха и голод, стояли огромные очереди за хлебом и керосином, но люди радовались и были счастливы. Впереди ждала мирная жизнь, и никакие трудности не пугали. Привычка всё преодолевать в крови у нашего народа.

Радостные события происходили в городе. Возвращались с войны победители – отцы, мужья, братья и сыновья. Многие были покалечены, кто без руки, кто на костылях. Но их лица светились радостью.

Дети сновали повсюду. Среди них – мы с сестрой и наши друзья. С огромными букетами сирени школьники встречали поезда и одаривали каждого военного цветами. Так продолжалось весь месяц май. А затем к радости Победы прибавилась радость окончания занятий в школе.

Вера Суржикова

Детский фейерверк

Однажды весной, когда мы были у дедушки, мои братики взяли меня с собой на прогулку – за деревней на большое поле с оврагом. Они часто ходили туда гулять мальчишескими компаниями. Бегали, что-то искали, шумели, и вдруг слышу: «Ура! Нашли! Вера, сюда!» С собранными полевыми цветочками я побежала к ним. «Подставляй подол!» – хохочут мальчишки и высыпают мне в подол из металлического цилиндра (огромного патрона) набор разноцветных, ярких игрушек-макаронинок... Затем Ваня достал взятое из дому круглое толстое увеличительное стекло, кусочек бумажки положил на собранный бугорок сухой травы и солнечным лучом через увеличительное стекло разжег маленький костерчик. По очереди в этот костерчик мы бросали по одной «макаронинке», которые с треском вспыхивали ярким пламенем. Глаза у всех сверкали от счастья, и улыбка не сходила с уст... Эта прогулка запомнилась мне на всю жизнь.

Правда, мальчишки строго приказали мне ни в коем случае не рассказывать никому наш большой-большой секрет.

Этот секрет мы раскрыли в день освобождения нашего города.

В День Победы взрослые вынесли на нашу поселковую улочку столики, сдвинув их в ряд, и с радостью поздравляли друг друга. А наша детская команда встречала этот праздник с длинными светлыми «макаронинами» – противотанковыми, как сказали мальчишки.

Построив нас на одном конце улицы, Ваня поджигал по очереди каждому «макаронину», и мы с высоко поднятой сверкающей, трещащей пороховой палочкой изо всех сил мчались друг за другом на другой конец улицы. Ваня нас предупредил: когда догорает «макаронина», чтобы не обжечься, бросайте ее вверх, чуть в сторону.

Вот такой счастливый сюрприз мы устроили себе и своим мамам, которые с удивлением и радостью смотрели на нашу детскую демонстрацию с фейерверком в честь Победы.

Юрий Белаковский Подкова

Не знаю, как кому, а мне День Победы запомнился подковой. Старой ржавой подковой. Да, я не помню военных, взлетающих в тот майский день над счастливой, радостной, праздничной толпой. Может быть, они и взлетали, но это не запечатлелось в моей памяти. А «летающими» я их увидел и воспринял много позже – по многочисленным фильмам, по кадрам кинохроники. И салюта в тот день не помню, да и не было салюта, наверное, в нашем небольшом сибирском городке. Это теперь он – Новокузнецк с его металлургическим комбинатом, с химическими заводами и угольными шахтами. А тогда... Хотя и назывался он Сталинск (!), а вот салютов ему, как я теперь догадываюсь, по штату не полагалось. И познакомиться с настоящими, яркими, красочными салютами – с брызгами разноцветных огней, с бегающими по небу лучами прожекторов, с плывущим в вышине и как бы изнутри светящимся портретом «архитектора победы» – мне довелось только через год, уже в Москве. А тогда я, пятилетний, и слова-то такого не знал. А вот что запомнил на всю жизнь, так это отчаянный стук в дверь нашей с мамой комнаты, отведенной нам к концу войны. Стук ранним-ранним утром, еще почти ночью, только переходящей в утро, когда так сладко спалось, и голос тети Тины, маминой старшей сестры: «Вставайте! Войне конец! Левитан по радио объявил – Победа!...»

Честно говоря, я не помню, какая в этот день была погода. Но всю жизнь уверен, что в этот день солнце светило особенно ярко и ласково и что весь город высыпал на улицы и заполнил городской бульвар. И мы гуляли в этот день все вместе: мама, тетя Тина, я и мои двоюродные братья – уже почти взрослый восьмилетний Женя, на которого я старался во всем равняться, и трехлетний несмышлениш Толик. Толик, вечно путавший правый и левый ботинки и не умевший даже шнурки на них завязывать. Толик, еще совсем недавно проглотивший первый в своей жизни леденец, принесенный дедушкой, и ревавший по этому поводу: «Упал!», показывая при этом себе на живот (а мы с Женей, уже «грамотные», опытные, сосали свои леденцы и потешались над «неумехой»).

Тетя Тина обычно старалась на улице не отпускать от себя Толика, который в каждом военном «узнавал» своего никогда еще не виденного им отца и бросался к нему с криком «Мой папа!». Чем, конечно же, приводил в немалое смущение и свою мать, и не ожидавшего такого натиска мужчину.

И вот этот несмышлениш, неумеха и плакса, по случаю праздника получивший свободу и бежавший по бульвару впереди всей нашей «команды», лавируя между встречными, вдруг остановился, наклонился и что-то поднял с земли. «Толя, брось сейчас же и ничего не подбирай!» – последовал обычный в таких случаях родительский оклик. Но через мгновение, когда стало видно, что именно Толик держит в руке, тон изменился: «Подожди минутку! Покажи, что ты нашел? Да это же подкова! Молодец! В такой день нашел подкову! Говорят, что подкова приносит счастье! Значит, скоро приедет папа!»

Услышав это, я почувствовал обиду и досаду. Ну почему не я шел впереди? Почему не я нашел подкову? Ведь я тоже очень хочу, чтобы и мой папа поскорее приехал! И я начал упорно глядеть себе под ноги, надеясь на чудо. И чудо произошло! Я увидел ее еще издали – ржавую, изогнутую дугой железяку, словно поджидавшую как раз только меня! Ведь многие, очевидно, прошли в тот день мимо этой подковы, не обратив на нее никакого внимания! Ее никто не замечал, она никому не бросалась в глаза! А заметной она сделалась лишь для меня. И, схватив подкову, я высоко поднял ее над головой и закричал так, что все окружающие обратили на меня внимание: «Мамуля, я тоже нашел подкову! Скоро папа с войны приедет!» Люди вокруг смеялись, и кто-то сказал: «Ну, раз ты нашел подкову в такой день, то теперь-

то обязательно приедет!» Кто-то добавил: «Если дожил до победы, конечно!» А какая-то женщина сказала мне очень серьезно: «Ты, малыш, не выбрасывай эту подкову. Храни ее всю жизнь, и она всегда будет приносить тебе счастье!» И мы с мамой принесли подкову домой, обернули ее «серебряной бумагой» и повесили на гвоздь над входной дверью. И подкова не обманула – папа действительно приехал!

Прошли годы. Подкова долго хранилась в нашей семье. Она приехала с нами из Сталинска в Москву, где почти двадцать лет висела над дверью в нашу комнату – одну из двадцати комнат в длинном коридоре большого шестиэтажного дома, переоборудованного позднее в гостиницу «Урал» недалеко от Курского вокзала. Наверное, она и правда приносила нам счастье – во всяком случае, недостатка в друзьях ни у моих родителей, ни у меня никогда не было. А разве это не счастье? Не знаю, в подкове ли дело, но ведь получили мы в конце концов отдельную двухкомнатную квартиру-«распашонку» в одной из хрущевок – и это было по тому времени величайшим счастьем. А вход в квартиру уже привычно то ли охраняла от невзгод, то ли осеяла добром все та же старая, по-прежнему обернутая алюминиевой фольгой подкова, найденная мною в День Победы 9 мая 1945 года. И женился я, и отцом стал – всё под сенью моей находки! Вот только в Германию мы подкову с собой не взяли.

Ели...

Маленький экскурс в историю человечества: в самых древних времен человек ел все, что только ни попадалось ему под руку: он – животное всеядное. Лишь бы продукт не был ядовитым! Но установить это можно было только на практике. Так узнавали, что без-обидное с виду растение смертельно, а ядовитая змея, если не успеет ужалить, идет в пищу. Племена, обитающие у воды, кормились рыбой и моллюсками, обитатели степей и саванн питались растениями и животными, которых могли поймать. Охота на крупных животных была одним из первых «социальных» действий. Жестокие голода были привычны для наших предков. Однако людоедство, как можно предположить, носило скорее ритуальный характер. В самые жестокие голода случалось трупоедство. История недавнего времени – ленинградская блокада, сопровождавшаяся небывалым для новейших времен голодом, – рассказывает об этих ужасах. В такие годы в пищу употребляли и крыс, и собак, и кошек, варили старые кожаные изделия, чтобы утолить голод.

В России голод – вещь привычная. Первое упоминание о голоде в России относится к XI веку. В XX веке Великих голодов насчитывают три – 1921–1922, 1932–1933 и 1946–1947.

Причиной голода во всех странах бывают обычно неблагоприятные природные условия: засуха, ливни, ранние заморозки, нашествие саранчи. Лишает людей пищи и война.

Историки XX века проанализировали причины голода в России и пришли к выводу, что голод 30-х годов был в большой мере следствием социально-политических обстоятельств. То же и в первые послевоенные годы: засуха 1946 года привела к снижению урожая – он был в два с половиной раза меньше, чем в предвоенном 1940 году, послевоенная нехватка рабочих рук, сельскохозяйственной техники, которая не производилась в годы войны, лошадей. И тем не менее экспорт зерна не только не прекратился, но возрос: в 1946–1948 годах из страны было вывезено 5,7 млн тонн зерна, на 2,1 млн тонн больше, чем за три предвоенных года. Это было политическое решение: для восстановления разрушенной промышленности нужны были деньги, и они были вырваны из ртов голодных людей.

В эти 1946–1947 годы СССР получил помощь международных организаций. Продовольствие и товары на сумму 250 млн долларов поступили по программе послевоенного восстановления, которая была создана за счет взносов стран – членов Лиги Наций. Американский Красный Крест предоставил товары и продовольствие общей стоимостью 31 млн долларов. Но это была капля в море.

В 1947 году в СССР умерло 508 тысяч детей в возрасте до одного года. Это было первое послевоенное поколение, то поколение, которому был обещан коммунизм. Колхозницы воровали хлеб с полей, собирали колоски. Законы ужесточились. По официальным данным в конце 1948 года за подобные «кражи» в местах заключения содержалось 23 790 матерей, вместе с которыми за колючей проволокой отбывали «срок» малолетние дети. По стране прокатилась волна нищенства, которое достигло невиданных прежде размеров. По самым приблизительным подсчетам, число нищих составило 2–3 млн человек.

Даже в тех регионах, где не было жестокого голода, ощущалась сильная нехватка продовольствия. Где достать продукты, как накормить детей, как избавиться от постоянного чувства голода? Эта мысль владела женщинами и мужчинами, старыми и малыми.

Мы живем во времена смущающего изобилия: сегодняшние люди, страдающие от ожирения и переедания, озабоченные снижением веса и поиском разного рода диет, составляют яркий контраст с худыми, подвижными, работающими до последних дней жизни послевоенными стариками. В наше время Россия, как и большинство «сытых» европейских стран, переживает невероятный ресторанный бум. Поваренные книги стали одним из самых потребляемых «продуктов», возникла новая отрасль в журналистской профессии –

ресторанные критики, эксперты по изысканной кухне. Высокообразованные повара создают новые блюда, с необыкновенным набором вкусовых оттенков. Но есть ученые, которые считают, что «высокая кухня» – один из признаков скорого упадка цивилизации. Не знаю, насколько эта точка зрения справедлива. Но есть о чем задуматься.

Послевоенные домохозяйки проводили над своими печками, керосинками, керогазами не меньше времени, чем сегодняшние гурманы. Но что они готовили? Бедный супчик, каша, картошка. Это было безотходное производство: картофельные очистки – еда, свекольная ботва – еда, жмых – еда! Послевоенное поколение мечтало о хлебе!

Пережившая блокаду в Ленинграде сестра моего деда, когда я гостила у них спустя много лет, досуха выскребала содержимое яйца, чтобы не пропала ни одна молекула драгоценного продукта. До самой смерти она бдительно следила, чтобы ничего не выбрасывалось. Все подкисшее, подгнившее, третьёводнишнее она, вздыхая, подъедала: «Надо спасать еду!» Всякий раз, наблюдая, как отправляют на помойку горы недоеденных или испорченных продуктов, я вспоминаю об этих стариках...

Этика людей моего поколения формировалась в эти скудные годы, многих из нас до сих пор коробит неуважение к хлебу. Среди тысячи полученных писем нет, кажется, ни одного, где не упоминался бы хлеб – буханка, батон, довесок, пайка, порция, ломоть... И, конечно же, хлебные карточки. Те, кто пережил те времена, помнят до самой смерти. А кто не слышал, пусть узнает.

Николай Белков (записано внучкой Екатериной Белковой) Потерянные карточки

Первое воспоминание: мне три годика. Мать везет меня на поезде из поселка Могэс в детский сад на Пятницкой улице. Садик для детей сотрудников Мосэнерго, где мама трудится. До станции Карачарово, откуда мы ездили, еще и три с половиной километра идти надо было. Но когда приходили, смотрели, а там чудо и красота – паровые поезда. Тогда они еще ходили. Мамка меня отвозила в сад на всю неделю, до субботы.

Помню сорок пятый год. Победу. Все паровозы в тот день загудели. Даже нашему поселку слышно было. Люди закричали и побежали на улицу. Уличное радио на столбе объявляло, что кончилась война.

До сорок седьмого года была карточная система. Я один раз потерял все карточки на месяц. Мне тогда три или четыре годика было. Вот мать лупила меня! Прямо по жопе веревкой, а как же? И плакала. Кушать было нечего, страна голодала.

Помню эти карточки на хлеб: четыреста грамм – рабочая, двести грамм – детская. Ничего, как-то выжили. Помню, ботву привозили на корм лошадям. А там «шлепочки», попки от морковок. Их и ели.

А еще идешь по поселку, у кого есть еда, тот угощает. Видят ребенка, сразу – «На пирожок». Все друг другу помогали – это и была война.

В поселке было десять или одиннадцать бараков, это значит двадцать, может, тридцать комнат. И керосин стоял у каждой двери в коридоре, чтобы в лампы наливать. Мы жили в бараке номер три – я и мамка моя. За водой ходили на колонку.

Мама работала то в первую смену, то во вторую. Оставляла меня на соседей. Все так делали. Общение тогда людское было, понимаешь?

В 1949 году я пошел в школу. В этот год продукты стали покупать, но муку по три килограмма в месяц давали на человека. Моя первая учительница брала меня с собой, чтобы побольше муки дали. «У меня сын на иждивении!» – говорит. И ей давали. Так мы убегали с уроков с ней и стояли в очереди за мукой.

Анна Сальникова

Девочка без карточек

Нет, в нашей семье не было потерь от костлявых смертельных рук войны, никто в ней не участвовал: отец был слепым, мама – тоже инвалид. Не были мы беженцами, не были и под немцами, но все тяжести военных и послевоенных лет тоже ощутили сполна. И вот теперь я, единственный очевидец, вспоминаю все так живо, будто это было вчера.

В нашей семье было четверо детей, я и братик самые младшие. Нас, детей, выручало молоко, которое покупали у соседей, державших корову. Обычно нам полагалось пол-литра молока на день, пока родители не придут с работы и не приготовят что-то. Однажды братик выпил все молоко, но сообразил детским умишком, что сестренке ничего не осталось, испугался и... налил в банку воды. Я увидела, что молоко подозрительно голубого цвета, попробовала и поняла – в банке просто вода, подкрашенная молочными остатками, но ничего не сказала братику. Потом жизнь развела нас, но при встрече брат снова и снова просил у меня прощения за свой поступок.

Вспоминается мне до сих пор и жареная картошка на вонючем рыбьем жире, но это сейчас кажется ужасным, а тогда картошечка казалась такой вкусной! А сколько раз приходилось чистить целый чугунок мелкой картошки, величиной с грецкий орех. Делали пюре без всякого масла и молока. Только картошка и вода! Ни о каких яйцах понятия не имели. Большим подарком была требуха, отданная или проданная соседями. Долго мы с мамой обрабатывали ее кипятком, а после варки уплетали за обе щеки. Недоеденная каша не выбрасывалась в ведро: мама из остатков делала и оладьи, и блинчики. А до ее прихода с работы, пока она что-то приготовит, мы довольствовались после школы луковицей с подсолнечным маслом и солью. Ах, как вкусно!

В одном дворе с нами жила моя подруга детства, худенькая Лариса. Их семья для таких тяжелых времен была богатая. У Ларочки была самая большая и красивая кукла: гуттаперчевая красавица с пушистыми светлыми локонами и большими закрывающимися глазами. Даже хозяйка редко держала куклу в руках, не говоря уж о других детях. Порой поможешь у них в доме помыть полы, и в награду за это тебе разрешали подержать несколько минут эту куклу, а она размером чуть ли не с тебя. Потом кукла водружалась на комод, где гордо восседала и свысока посматривала на детей. А так у всех были куклы в основном тряпичные с глиняными головками. И у меня была такая же, но папа по слепоте своей однажды сел на нее и, конечно, раздавил. Тогда кукол мне стали заменять полотенца, смотанные в рулончик и подвязанные носовым платком вместо косынки. Не было у детишек и кукольной одежды, кукольной посуды и мебели. Земля-матушка, да песок, да кусочки бумаги и палочки от деревьев или найденные на дороге красивые стекляшки от чьей-то разбитой посуды. Во что играли? Еще любили прятки, лапту, штандер, казаков-разбойников. Бывало, по вечерам сидят родители да старики на крылечках, шелкают семечки, говорят о чем-то о своем, а детвора со всего квартала собирается и играет, не мешая родителям отдыхать от тяжелого трудового дня.

Видела я сытую жизнь Ларисы. Иногда меня сажали за стол вместе с ней покушать лишь только для того, чтобы Ларочка съела «хоть самую малость». А у меня всегда аппетит был «звериный», съедала бы все, чем угощали, но понимала, что надо быть «вежливой и тактичной», и сдерживалась. Нравилось мне бывать в этой семье: и дом казался большим, и кукла была настоящая, и мух почти не было, а в летнее время – червей. Да, да – настоящих живых ползучих червей! Как я уже упоминала, Ларочкина семья была богатой и у них скотины был полный двор: корова, лошадь, свиньи, куры. Весь этот скотский помет, или, по-другому, навоз, вычищался из сараев и складывался недалеко от нашего крыльца.

За зиму куча вырастала огромная, и, как только становилось тепло на улице, хозяева нанимали женщин и делали кизяк (смесь навоза с соломой). Этот кизяк раскладывали по всей площади двора. Солнышко пригревало, в кизяке заводились черви. И расползались повсюду. Поскольку домик наш был без фундамента – прямо на земле, то черви заползали и в дом. А где черви, там и мухи черными стаями заполняли комнаты. И ничего с этим не поделаешь, пока кизяк не высыхал. Потом этот кизяк в виде кирпичей складывали в маленькие кучки, затем в большие штабеля, и лишь когда он высыхал окончательно, переносили в сарай. Лишь спустя много лет городские власти запретили собирать навоз во дворах.

Но вернемся лучше к столу, ко всякой вкуснятине, которой старались напичкать Ларочку. Видела тетя Паня, Ларисина мама, что мне всегда нравилось быть у них в доме. И вот однажды решила пошутить:

– Нюся, хочешь быть моей дочкой?

– Хочу! – представляю, как заблестели от радости мои глаза.

– Беги домой, возьми у мамы карточки и приходи к нам.

Вприпрыжку я побежала домой и, задыхаясь от радости, выпалила:

– Мама, дай мои карточки, и я пойду жить к тете Пανε. Лариска будет моей сестрой.

Обняла меня мать, погладила по головке и сказала, горько улыбнувшись:

– Глупенькая, пошутила над тобой тетя Паня. Если бы ты нужна была ей, она взяла бы тебя без карточек.

И стала объяснять, что без продуктовых карточек мы останемся голодными. Когда мне приходилось идти в магазин, мама строго наказывала:

– Смотри, только не потеряй.

Продавщица в магазине ножницами отрезала талоны и взвешивала то сахар, то крупу, то хлеб. Слава Богу, вроде бы всегда все было хорошо и не было потери карточек, а может, я просто не знала всех подводных течений, может, взрослые вслух не говорили об этом. Но создалось впечатление, что весь период карточной системы в нашей семье прошел без потерь. Отменили карточки в 1947 году.

Иногда средняя сестра брала меня с собой в столовую железнодорожного депо, где она тогда работала. Но, чтобы сократить путь, сестра пролезала под железнодорожными составами, а за ней и я. Какой страх приходилось заглушать в себе! А вдруг в этот миг поезд тронется?! В депо рабочим часто выдавали брынзу, и тогда сестра приносила ее домой. Наверно, не могла съесть из-за того, что она была уж больно соленая. На всю жизнь и мне запомнилась эта соль.

А еще поминки... За поминальными столами сидели сначала взрослые, а потом усаживали детей со всей округи. Как ни тяжело жилось, но поминки все всегда старались сделать по всем правилам. Обязательно подавались блины с медом, рисовая сладкая кутья. Потом обязательное блюдо – борщ с мясом, тушеная картошка, тоже с мясом. Потом пшенная каша на молоке и в конце компот с пирогами. Мы, дети, не сознавали трагичности происходящего, главное – сытно покушать.

В летнее время хорошим подспорьем для детской «подкормки» служил черный паслён. У соседской девочки, Милы Рукавицыной, был длиннющий двор. Не принято было сажать что-то во дворах, так как полива не было, а носить воду из колонки за два-три квартала было слишком тяжело. Вот и приспособливали дворы кто подо что, а чаще просто пустовала земля. У Рукавицыных весь двор зарос пасленом. Спелый паслен заменял сахар или конфеты. Взрослые пекли с пасленом даже пирожки. Нет, у нас пирожки не пеклись, но Мила разрешала собирать паслен сколько хочешь. Большим везением было, если насобираешь целую кружку этой ягоды и потом лакомишься, стараясь растянуть удовольствие.

Антонина Кухтина

Карточки отменили, очереди остались

Самое первое и самое яркое воспоминание детства – это очереди за хлебом. Мне тогда было четыре года, а брату – два. Карточки на хлеб к тому времени уже отменили, а вот очереди...

Отец поднимался в четыре часа утра. Наскоро перекусив и выпив чаю, он шел в ближайший магазин занимать очередь. А к восьми часам ему нужно было идти на работу. К этому времени мама поднимала нас, хныкающих и невыспавшихся, умывала, кормила, и мы шли на смену отцу.

Он сообщал нам номер очереди, записанный химическим карандашом на ладони, затем громко объяснял стоящим сзади, что это вот и есть его семья, на которую он занимал очередь и о которой он их предупреждал. Только тогда мы равноправно вливались в это временное сообщество, а отец уходил на работу.

У магазина уже не просто стояла, а клубилась огромная толпа: женщины, дети, старики. Стояли здесь и мужчины, почему-то всегда уже успевшие подружиться и «сообразить». Кто-то вязал носки, кто-то монотонно и однообразно рассказывал всем желающим каждый день одно и то же о тяжелой, беспросветной жизни и о погибших кормильцах. Тут же завтракали, матери кормили грудничков. Однажды женщины, собравшись в кружок, даже пели песни.

Ближе к обеду подвозили хлеб. Он мог быть белым, пшеничным, ржаным или пеклеванным. Что означает это слово, не знаю до сих пор. И тут начиналось настоящее светопреставление. Очередь «строилась», и дети, несмотря на их слезы и протесты, также записывались в нее. Ведь норма продажи – булка в руки, иногда полторы. И тут уж бдительно считались даже наши детские ручонки. Огромная очередь выплескивалась далеко за пределы магазина. Слышались бесконечная ругань и выяснения, кто здесь стоял, кто не стоял. Чем ближе к прилавку, тем ожесточеннее проходили баталии, ведь первые обычно занимали очередь с вечера.

Добровольные блюстители порядка торжественно закрывали двери, и не дай Бог, если кто-то в этот момент отошел по делам или просто зазевался, а его честно выстоянная очередь оказывалась внутри магазина. «Занимай снова!» – вот и весь сказ.

Тут-то и вступал в свое решающее действие номер, написанный на ладони. Когда очередной распаренный, счастливый обладатель хлеба выбирался из магазина, только этот номер очереди служил находящемуся на улице законным пропуском туда, ближе к хлебу. Причем с завидным постоянством находились «любители» подделать этот несчастный номер, и с таким же завидным постоянством они тут же вычислялись почти сроднившейся за полдня толпой и торжественно изгонялись из ее временно дружных рядов. А иногда даже маленько избивались под одобрительные возгласы окружающих. Драки, смех, ругань, мат...

Как только очередь добровольного наблюдающего исчезала в магазине, ему тут же находилась достойная смена; желающих почему-то всегда было больше, чем нужно. Купленный хлеб расходовался очень экономно и растягивался на несколько дней. Если хлеба на всех в магазине не хватало, а такое частенько случалось, то на следующий день все повторялось сначала.

Однажды, когда моя счастливая мама, держа на руках братишку и подталкивая вперед меня, сказала продавщице: «На троих», та вдруг заартачилась:

– Нет, только на двоих! Пацан маленький, он не считается!

– Как это не считается? Он ведь тоже полдня толкся в этой очереди!

– А вот так! Не считается, и все! Да он и хлеба-то столько не съест! Бери на двоих и уходи! Не мешай работать!

Толпа загудела. Одни, с малыши на руках, истерично закричали:

– На всех! Давайте на всех!

А стоящие без детей, конечно, приняли сторону продавщицы:

– Не давать! Не давать! А то соберут всех соседских сопляков и хапают, хапают!

Да, было и такое. Иногда, купив хлеба по своей очереди, матери по договоренности тихонько передавали своих детей соседям или родственникам, стоящим сзади. Ребенка ведь легче подсунуть в очередь, у него нет номера на ладони, а научить громко называть соседку или тетю мамой, чтобы купить лишнюю булку хлеба, не так уж и сложно. Один-два раза могло сработать.

Короче, продать хлеб на братишку нам категорически отказались, несмотря на горячие заверения сочувствующих знакомых:

– Да ее это пацан, ее!

Это был первый и последний раз в жизни, когда я видела, как громко и безутешно плакала несчастная мама, как истошно кричал перепуганный братишка. А вокруг были глаза, глаза! Одни – заплаканные, несчастные и сочувствующие, другие – озлобленные, торжествующие и довольные. А вечером, рассказывая о происшедшем отцу, мать в сердцах сказала братишке слова, о которых жалеет до сих пор:

– Видишь, Петенька, хлеба на тебя не дали, значит, и кормить тебя не будем.

Двухлетний братишка не очень-то и понял, о чем она говорит, а вот со мной случилась ужасная истерика, после которой я несколько дней не могла подняться с постели.

Анатолий Компаниец Туркменский лук

Впечатления детства сохраняют свою остроту практически на протяжении всей жизни, моей уж точно. Память не знает жалости, она иногда впрыскивает в тебя дозы такого свойства, что хочется выпрыгнуть из своей оболочки, удалиться от нее до поры, пока это воспоминание не опустится в глубины памяти. Но чаще память служит мне по-доброму.

Операция по эвакуации усеченного киевского семейства прошла успешно. Отец с 22 июня был в строю. Мама, дочь десяти лет и сын трехлетка (да простит читатель, мне проще говорить о себе в третьем лице) после краткого пребывания у нелюбезной тетки в Ставрополе оказались в Ашхабаде, в семье сестры отца.

На быте семьи четко отражались события на фронте. После разгрома под Киевом элитной дивизии, в которой служил отец, и перевода его в общевойсковую часть, содержимое продовольственных пайков изменилось (вместо сахара давали торты, а их сменила сахарная свекла). Прошло полтора года.

Мама и родичи на работе, сестра в школе. Почти пятилетний хлопчик дома один. Точнее, не дома, а во дворе. Дом заперт. Заперт и двор, окруженный высоким забором – дувалом. Жарко, тени коротки, солнце в зените. Большая акация во дворе тени не дает. Вдоль забора ползают две черепахи, отыскивая выход куда-то. Есть едва прикрытый досками глубокий безводный колодец. Мама хранит в нем продукты. И есть еще деревянный ящик, в котором легко помещался малец. Но нет игрушек. Ни одной. Подобно черепахам, обошел весь периметр двора, ведя палочкой по забору и стенам... Дом и двор оживут нескоро. Мальцу тоскливо от одиночества, страшновато от одиночества и от одиночества хочется плакать. Но еще больше хочется есть.

Голод обостряет чувства. Пацаненок видит добротный ломоть хлеба с остюками, окропленный хлопковым маслом, и слюнки обильно орошают рот. Он их глотает, глотает, но это ни голода, ни жажды не утоляет. Под крыльцом, спрятанная от солнца, стоит банка с водой. Он ее достает, пьет воду и от досады всхлипывает – вода почти горячая. А холодная вода такая вкусная! Но жажда утолена. Голод остался.

Он здесь один уже очень давно, по солнцу определять время еще не умеет. Знает только, что, когда тень от дома достигнет во-о-он того угла двора, из школы вернется сестра... Да все равно обедать-ужинать будут только с мамой. Но он умеет определять время по часам, висящим в комнате тети, прямо против окна. Часы эти ему очень нравятся, особенно два железных грузика на цепочке, которые напоминают ему что-то вкусное. Мама называет их бананами. Чтобы заглянуть в комнату, нужно перетащить ящик поближе к окну и с него рассмотреть большую и маленькую стрелки часов. Цифры он знает хорошо, но желанное время определяет по положению стрелок – мама придет, когда маленькая стрелка совсем опустится, а большая будет вверху.

Перемещение ящика особых усилий не потребовало – он сооружен из тонких дощечек, расположенных на расстоянии друг от друга.

Дело сделано, ящик на месте. Малец осторожно карабкается на шаткую опору и, еще не взглянув в окно, слышит-чувствует, что в ящике что-то стукнуло (упало?). Глянул вниз и через щель между планками увидел... луковицу! Там луковица! С ящика не сполз, а спорхнул. Там луковица! Перевернул ящик, сложившись вдвое, дотянулся и, медленно сжав пальцы, стал ее властелином! Не беда, что при этом оторвалась пуговица, которой пристегивается шлейка штанишек. Мама не ругает, если пуговица не утеряна.

Теперь торопиться не следует. Нужно расправиться с трофеем в комфортных условиях.

Комфорт обеспечит всё тот же ящик. Владелец луковицы неспешно переворачивает его на бок, забирается в ящик и приступает к трапезе.

Луковица очищена. Она, видимо, давно находилась в этом ящике и существенно привяла. Нет, откусывать от нее он не будет. Он отделяет слой за слоем и очень медленно их жует. Привядшая луковица не вызвала специфической реакции слизистых. Осталась сладость и еще какой-то особенный привкус, который ощущался, когда язык прикасался к мягкому нёбу. Это было не просто поедание, это было впитывание каждой частички сока и мякоти овоща истосковавшейся по еде плотью. И это впитывание сопровождалось нарастающей радостью жизни. Притупилось чувство одиночества, и плакать совсем расхотелось. Пропало даже желание посмотреть на часы.

Он положил оторвавшуюся пуговицу в карман штанишек, вздохнул облегченно и уснул в этом ящике.

Сестра не стала его будить, а мама вытащила из ящика, обцеловала и повела в дом. А он указал маме на шелуху и спросил, как называется этот лук. Мама сказала, что это туркменский лук.

Память об этой луковице и ее вкусе, ящике и дворе остались на всю жизнь.

Юрий Орлов Бой без правил

Эх! Сегодняшнюю гастрономию, что давно ломит и прогибает прилавки даже сельских магазинов, хоть на миг перенести бы в далекие послевоенные годы... В то время все люди (кроме жуликов, хапуг, несунув и прочего отребья) жили бедно, и когда нынешним школьникам рассказываешь про тогдашнее житье-бытье, они лишь снисходительно улыбаются, как бы говоря: «Давай, давай, дедуля, загибай дальше...»

А те дедули, чье детство, как и мое, было голодным и холодным, вспоминая былое, хмурят брови, а бабули, не стесняясь, смахивают мелкую как бисер и холодную как каплю слезинку.

...Было это году в сорок седьмом или сорок восьмом. Моя мама, в отличие от своих пятерых братьев и сестер, часто болела. Не знаю, как называлась та болезнь, которая бросала маму в цепкие объятия приступов удушья и сильных сердечных болей, и я, боясь возможного самого страшного исхода, неистово прижимая к груди маленький образок, взывал к Богу: «Боженька, миленький, спаси мою маму. Она хорошая, самая хорошая, я ее очень люблю».

Часто мои мольбы помогали, и приступы вроде бы проходили, а когда не проходили, тогда отец бежал к своему директору и просил его:

– Выручайте! Дайте вашу упряжку отвезти жену в больницу, ей снова стало плохо.

И директор Новосибирского завода бетономешалок Евгений Владиславович Кравцов давал своему сотруднику, главному экономисту, то есть моему отцу, свою «персоналку»: летом – двуколку, а зимой – дровни.

Я и сейчас вспоминаю этого доброго руководителя, много раз выручавшего нас своим «персональным» транспортом. А сам он частенько после тяжелой работы (должность директора – трудная доля!) возвращался домой пешком.

Но тогда это была норма жизни, норма поведения. То были поистине советской закалки люди, для которых слова «товарищ», «патриотизм» не были пустым звуком. Это сейчас эти слова потеряли высокую цену, их и произносить стало как-то неловко...

...В один из ничем не примечательных дней отец, уходя на работу, разбудил меня рано утром:

– Сын, вставай, надо навестить маму. Я сам не смогу – ты видишь, работаю без выходных.

Наша мама уже месяц лежала в больнице. А в больнице, мы знали, кормят плохо, и врачи прямо говорили, чтобы приносили свою еду из дома. А тут как раз нашим соседям подфартило – из деревни прислали посылку, и они дали для мамы небольшой, грамм пятьдесят, кусочек мяса. Ночью, пока мы с братьями спали, отец сварил супчик. Его-то я и должен отвезти маме.

Больница находилась на противоположном конце города, на окраине. Сначала нужно было проехать на двух трамваях, потом на автобусе и дальше пешком через небольшой лесок.

Я взял кастрюльку с супом за две ручки, которые отец предусмотрительно «сварганил» из бумажного шпагата, завернул в тряпицу кусочек черствого черного хлеба, положил все это в сумку, прихватил бумажку-«путеводитель» и поспешил на трамвайную остановку.

Ехал я долго, наверное, часа два, а то и больше. Я уже шел через лесок, впереди сквозь высоченные сосны забелело здание больницы, и, несмотря на изрядную усталость от дороги, все же прибавил шаг.

Вдруг откуда ни возьмись передо мной нарисовалась ватага таких же, как и я, пацанов. Они сразу взяли меня в кольцо. Их было четверо. По виду они были моими одноклассниками –

лет по десять, а один значительно старше. Я мысленно дал ему кличку «старшой». Он был, видимо, главарь.

– Куда это мы так торопимся? – наступая на меня и суживая кольцо осады, подкинул мне вопрос «старшой».

– Да к мамке я иду, в больницу. Она сильно болеет.

– Ты, как я вижу, не с пустыми руками идешь к своей мамке?

– Да вот папка сварил супа – мама совсем голодная.

– А можно ли твоей больной матери кушать это пойло? А ну-ка, Васек, попробуй, может, и не вкусный суп-то вовсе? – с подленькой ухмылкой обратился «старшой» к одному из дружков.

– Вы что, пацаны! Мы с папкой даже по чайной ложке не попробовали – это только для мамки. Ей поправляться надо. Без нее мы все пропадем. Отпустите меня!

– Ты че, Васюха, не слышал, что я тебе сказал? Бери у него котелок!

– Не подходите! – я принял угрожающую позу. – Первый, кто приблизится ко мне, получит по я...м вот этим сапогом! Не подходи!

– Ты глянь, какой сердитый. Не таких обламывали. Нас в детдоме тоже плохо кормят. Что нам, подышать с голодухи?

– Я-то тут при чем? Когда я был в пионерлагере, там тоже были детдомовские, они справедливые. А вы... Это нечестно! Это... – я не успел договорить, как сзади двое или трое пацанов навалились на меня, схватили за руки, вырвали сумку и отбежали в сторону.

– Отдайте, гады! Отдайте! – я ругался и умолял пацанов. – Отдайте сумку! Что я мамке скажу? Что скажу отцу? Братья подумают, что это я слопал суп...

– Ну-ка, дайте-ка мне отхлебнуть из баклажки, – приказал «старшой».

Ему повиновались и поднесли кастрюльку с супом.

– Да ты что, пацан, в натуре! Разве можно больного человека кормить такой гадостью? Ну-ка, пацаны, попробуйте. По-моему, отравка какая-то, а не суп, – ерничал «старшой».

Не выдержав издевательства, я рванулся к обидчику. Теперь руки у меня были свободны, а драться, хотя и был хилjak, я умел. Мне нужно было во что бы то ни стало отобрать то, что еще оставалось в кастрюльке.

– Отдайте! Убью! Сволочи! Отдайте!

Я кинулся на главаря и врезал ему, как и обещал, в пах со всего размаха детским, но увесистым кирзовым сапогом. Он душераздирающе завопил:

– Ой, больно! Пацаны, помогите! – скрючившись в три погибели и обхватив пах двумя руками, орал «старшой».

Я же в тот момент ничего не видел и ничего не сознавал: кого-то кусал, кого-то рвал за уши, кому-то въехал по зубам... Я неистовствовал. Страха не было и в помине. И боли не чувствовал, несмотря на то что на меня сыпались десятки тумачков по голове, по ребрам, по животу...

«Лишь бы не упасть», – пронеслось у меня в голове.

И вдруг все разом стихло. Только сквозь свалившуюся на голову тишину слышалось птичье чириканье. «Старшой» теперь уже молча, корчась от боли, отползал в тень деревьев, а остальные: кто – сплевывая кровь, а кто – вытирая сопли – вполголоса грозили:

– Берегись, на обратном пути ноги тебе переломает.

А я сидел по колено в пыли, один зуб мой шатался и готов был покинуть своих собратьев, глаз заплаыл, рубашка разорвана от ворота до пупка, правое колено нестерпимо ныло от боли, а из носа тонкой горячей струйкой текла кровь.

Но все это показалось мне мелочью по сравнению с тем, что кастрюлька с остатками супа была отвоевана и я мог, пусть на доньшке, но все-таки отнести эту драгоценную еду маме. «Чернушку», лежавшую тут же в песке, я поднял, бережно положил на ладонь и долго

сдувал с этого кусочка хлеба пыль, а потом с трудом поднялся и заковылял, прихрамывая, к больнице.

Дмитрий Виноградов

Буханка № 13

После окончания первого класса в 1951 году мне было предложено поехать в пионерский лагерь. Я очень удивился, поскольку не был еще пионером. Мне в школе объяснили, что туда направляют только отличников. А на все четыре начальных класса я был таковой один. Я очень опасался, что пионеры встретят неприветливо, как самозванца. Но оказалось, что таких, как я, еще три человека. Нам выдали пионерские галстуки и обязали носить их ежедневно. Слово учителя в те времена было равносильно закону.

Это уже позже я узнал, что государство подкармливало детей из малообеспеченных семей, отправляя их в пионерский лагерь. Времени прошло много, и я мало что помню, но на всю жизнь запомнился поход за хлебом. Лагерь находился в деревне с экзотическим названием Гноев (по русски – Навозово), а хлеб приходилось приносить в лагерь из соседней деревни Борисовщина через речушку. Начальник лагеря Ерошок Григорий Васильевич ежедневно отправлял за хлебом шесть человек, которые должны были принести в лагерь тринадцать буханок хлеба. Старшим начальник ставил кого-либо из ребят порасторопнее. И вот перед «командой» вставал вопрос: «Как донести тринадцатую буханку, если в руках можно было нести только по две буханки, а вот тринадцатую – некому?» Тогда принималось решение злополучную буханку попросту съесть, что и совершалось в прибрежном кустарнике.

До сих пор помню тот стыд, когда мы стояли перед Ерошком. Он молчаливо выслушивал объяснения старшего, что, дескать, буханок-то и было всего двенадцать. Затем, отрезанно махнув рукой, отпустил всех безнаказанно. Я затем старался обходить начальника стороной, поскольку не мог смотреть ему в глаза.

Назавтра за хлебом отправлялась другая команда. Но история с тринадцатой буханкой повторялась снова. И так до конца смены.

Уже будучи взрослым, после окончания института я попал на работу к Григорию Васильевичу. Там при первой возможности исповедовался перед ним за этот детский грех. Он только грустно усмехнулся, сказав, что он знал об этом и делал это специально. А сама тринадцатая буханка выпекалась в деревенской пекарне нелегально по уговору Ерошка с начальником пекарни. Оказывается, они на фронте служили в одной части в разведке. Эти люди, с лихвой хлебнувшие горя, изобрели свой способ подкормить оголодавших детей, поскольку видели, что лагерного пайка нам явно не хватает. Конечно, способ не из лучших, но вкус того лагерного хлеба я помню до сих пор. Ничего более вкусного мне в жизни есть не приходилось.

Юрий Леонов Лепешки с лебедой

Восемьдесят километров от родной деревеньки Белорусцы до Вятки отец когда-то одолевал в лаптях за два дня. А мне на велосипеде из Кирова до тех Белорусцев – да одним махом. С такими самоуверенными заявлениями отец не спорил, лишь похмыкал многозначительно. Но и отговаривать от затеи не стал. Мол, вымахал выше меня ростом, в девятый класс перешел, пора самому отвечать за свои поступки.

Об этом разговоре вспомнилось, когда я покорял очередной тягунук на полпути к деревеньке. Тягунук был длинный. Пыль от редких встречных автомашин успела припудрить лицо так, что слипались глаза, а шеренгам трухлявых берез вдоль обочины, казалось, не будет конца.

К посеревшей от непогод избе тетки Анны я подрулил за полдень. В доме была лишь туговатая на ухо бабушка Василиса, двоюродные сестры-малышки да туча мух. Бабушка, как водится, заохала, закружилась, не зная, куда усадить, чем потчевать гостя. Голодное время стояло – сорок девятый год. А я, гостинцы передав, сказал, что пойду навещу дядю Федора.

– Сходи, родимый, сходи, – благословила меня бабушка, осенив крестом, словно провожала в дальнюю дорогу, а не в соседнюю избу.

Дядя Федор в свои далеко за шестьдесят годков еще плотничал по окрестным деревням, и в доме его всегда водился достаток. Так что завернул я к нему не без тайного умысла. За дальнюю дорогу живот так подвело, что, казалось, мог за один присест съесть всё, что приготовлено было бабушкой на семью.

Еще не пригнутый годами дядя Федор, поблескивая крепкими зубами, встретил племянника по-царски. Крепко пожал руку узловатыми, в трещинах и порезах пальцами и провел в горницу, где дразняще пахло притомившимися в русской печи кислыми щами. От одного запаха их закружилась голова, и я присел на табуретку.

Пока дядя Федор расспрашивал про городское житье-бытье, на столе появилась горка пышных румяных оладьев, а чуть позднее и самовар. К оладьям были поданы миски и с медом, и со сметаной, так что я с аппетитом отдал должное угощению. Мечталось, правда, о тех самых, кислых, наваристых, да разве язык повернется сказать об этом. Спасибо и за оладьи, наелся я их до отвала.

Подивиться успел, какая молодая жена у дяди, едва ли не мне ровесница. И статью вышла, и на лицо пригожа. Ишь как порхает по избе! Вот так дядя Федор! Такую краплю подцепил на старости лет!

Тем временем исчез самовар, а на место оладьев воцарился графинчик настойки, а к нему – и соленые пупырчатые огурчики, и грузди в сметане, и нарезанное тонкими ломтиками сало...

– Небось можно уже тебе? – спросил, наливая по маленькой, дядя Федор. – Настойка целебная, на калгановом корне.

Мне оставалось лишь кивнуть, хоть прежде доводилось пить только любимую мамину «сливянку». Пригубила с нами рюмочку и хозяйка, сразу зардевшись маковым цветом. Стеснялась она меня и, едва присев за стол, упорхнула.

Горька была настойка, еле в горло пролезла. Зато я с удовольствием отдал должное и грибочкам, и салу. Вот уж и сыт стал совсем. А оказалось, что это только прелюдия к застолью.

Когда дошел черед до тех самых наваристых щей, места для них в желудке уже не осталось. А впереди, как выяснилось, ждала гостя и картошка, тушенная наверняка с какой-то вкуснятиной.

Ну не издевательство ли это над человеком? Если б знать порядки, бытовавшие раньше на вятской земле, – сначала разогреть гостя с дороги чайком, чтоб не скучал за столом, а уж потом потчевать по полной программе, – разве б накиннулся с такой жадностью на оладьи?..





Да и порядки эти остались в ту пору лишь у редких зажиточных хозяев. А той же тетке Анне, к которой я приехал на несколько деньков, такие порядки и не снились. С рассвета до заката отрабатывала она в поле свои трудовни, чтобы осенью получить на каждый по килограмму ржи. И держалась семья на том, что давали куры, коровенка да огород, который грозились отрезать за недоимки по продналогам. Хоть привез я из города и хлеб, и кое-что из продуктов, а все равно чувствовал себя стеснительно. Велико ли подспорье – грибы да ягоды, что приносил из леса?..

В первый раз по грибы собралась со мной и бабушка Василиса. Годами она была намного старше дяди Федора, но огород держался на ней. Чудно выглядели наши сборы. Я взял с собой под грибы плетеную корзину. А бабушка... бутылку.

Не спеша отправились в лес, что напротив, за логом. Едва дошли до опушки, я стал срезать подберезовики да обабки. А бабушка будто вышла лишь прогуляться. Ни разу к земле не нагнулась, пока не набрали на ельник. Там ничего не росло, кроме мхов, и я не мог понять, почему мы здесь остановились. А бабушке это место, как видно, издавна приглянулось.

Она ковырнула палкой пласт мхов, и оттуда проглянули розовые шляпки совсем молодых рыжиков. Те, которые проходили в горло бутылки, бабушка и брала, быстро заполнив тару. Очень дивно было смотреть на такую грибную охоту. Но понять ее секрет удалось вскоре.

Едва вернулись домой, бабушка залила чесночным рассолом бутылку с маломерками, тщательно закупорила ее и опустила на веревочке в колодец с ключевой водой – местный холодильник. Когда приедет в гости отец, она достанет эту бутылку, и до чего же вкусны и ароматны окажутся те скользкие рыжики, сдобренные сметаной.

В один из дней двоюродный брат, тонкошей, загоревший до цвета пленки от теплого молока, Колян, позвал меня на рыбалку. Правда, не сразу было понятно, куда он меня зовет. Ведь кроме речушки Лыстанки, более похожей на ручей, вокруг – никаких водоемов.

– А в Лыстанке и рыба, – попробовал развеять мои сомнения Колян. – Правда, одни гольяны, да ведь все равно – рыба.

– А удочки есть?

– Тю! А корзины на что?.. Корзиной знаешь как ловко их...

Подходящие корзины, как оказалось, надо было взять у тетки Тани, тоже сестры отца. Сколько же их у него, сестер, не то три, не то четыре, и все живут на одной улице, у всех мужиков забрала война.

– Ей и рыбу отдадим, – как о чем-то само собой разумеющемся сказал Колян. – Девочек у нее трое, поди-ка всех накорми...

Пошли на рыбалку рано – только стадо прогнали за околицу. Солнце малиновым шаром просвечивало сквозь ветви берез на том берегу.

Лыстанка – тихая речка, шепчет по мелководью в логу, чуть пошевеливает тугие стебли стрелолиста да седоватые пряди осоки. Где тут рыба?

– А вот мы ее сейчас... – приговаривает Коляня и, опустив корзину с мшистого бережка, лихо бьет по нему босой пяткой.

Что-то затрепыхалось в сорной траве на дне ивовой снасти. Небось лягуха?..

Коляня резво сунул туда пятерню и выволок на божий свет блеклое хвостатое создание размером с гороховый стручок.

– Во! – торжествующе приподнял братан свою добычу над головой. – А ты говоришь... Если повезет, может, и на пескаря наткнемся. Они тут под камнями да под корягами. А еще, рассказывали, сома однажды припутали... Здесь! А где же еще?.. В половодье тут знаешь как вода гуляет...

Через час такой рыбалки и я почувствовал нечто вроде азарта. Запустишь руку под какую-нибудь кочку, а тебе в ответ пощекочет пальцы неведомо кто. Вытащишь его, бедо-

лагу, – и в пестерь. А там уже еле дно просвечивает – всё копошится, елозит по бересте. И так хочется поймать того самого, усатого, чтоб все в деревне только ахнули.

Правда, однажды ухватил меня за палец клешнею рак. Не столько больно было, сколько напугал он меня. Никак не ожидал такого конфуза. Однако охоты шариться по чужим закуточкам рак не отбил.

Ближе к полудню мы поднялись по косогору с увесистой добычей. Среди гольянов трепыхалось и несколько пескарей.

На правах забойщика Колюня внес пестерь в избу тети Саши, как знамя. Одета в домо-тканую одежду тетка всплеснула руками и принялась отрешиваться от такого дара как могла.

– У самих-то жрать нечего, – напирала она на братана. Но в конце концов сдалась на условия, что пожарит сейчас эту рыбу, а есть будем вместе.

От той трапезы осталось самое горькое воспоминание о послевоенной деревне. Когда поставила тетка на стол артельную сковороду с томленными в молоке рыбешками, то, извинившись, подала к ним и лепешки цвета макухи, как называли в войну наше лакомство – подсолнечный жмых.

Три детских рта жевали напротив, три пары серых глаз внимательно смотрели, как я, отломив кусок лепешки, старался проглотить ее, не покривившись. Легче было пить горькую настойку, чем протолкнуть в себя кусок такого печива. Лепешка горчила и царапала небо колючей остью. Рецепт такого изделия оказался несложен:

– Лебеда да сныть, отруби да немного крахмала из прошлогодней картошки. Так что ты уж не взыщи, племян, за такое угощение. Может, когда и вспомнишь, как мы тут выживаем.

Помню, помню, тетя Саша, и по сию пору, хоть давно уже нет и тебя в живых, и не осталось следа от той деревеньки...

Съев пару рыбок, я поблагодарил за прием, ругая себя за то, что не догадался кинуть в рюкзаки лишних пару буханок хлеба. В то время он продавался в городе уже не по карточкам.

Выйдя на улицу, Колюня сказал, что тошнотики всё же вкуснее таких лепешек, и пояснил, что это за еда. Весной, едва сойдет снег, они с сестрой отправляются по огородам да по колхозному полю собирать перезимовавшую картофельную мелочь. Вымытая весенними дождями, она то тут, то там выглядывает из земли. Подсушив ее до крахмала, из этой, перезимовавшей, и пекут то, что мы сейчас называем драниками. Только драники из свеженатертой, «нонешней» картошки, а тошнотики – из прошлогодней.

...К дяде Федору я больше не заходил в гости, хоть он при встрече и приглашал заглядывать без стеснения. Не укладывалось в голове, как могут жить родные люди через дорогу друг от друга, по краям разящей пропасти между достатком и нуждой.

Может быть, я неправ в своих домыслах и дядя Федор помогал родне, чем мог, но в ту пору только он оставался единоличником на всю деревню, и вся деревня была ему родней – Пантюхины да Марковы в каждой избе.

Ольга Лазарчук

Быть гордыми умели

В Севастополь приходили и британские, и американские корабли. Однажды делегация из моряков решила посетить и нашу школу. Нас учили, как нужно приветствовать гостей и осторожно брать предложенные конфеты. Вот уж этому нас учить было не нужно. Мы четыре года их не ели, а быть гордыми умели. Вошли американцы в форме и ошеломленно остановились на пороге. Цементный пол, затертые лужи, по углам мелкая капель с потолка. Стали нам протягивать коробки с шоколадными конфетами. Мы чинно брали их и клали на столики рядом с собой. Никто их в рот не потащил. Как только гости ушли, мы положили это угощение в свои портфели и понесли домой, чтобы поделиться чудо-конфетами с домашними.

Геннадий Шульгин

Я тоже ничего не забыл из прошлого

Началась война, а я вот взял и родился. Мама прихватила нас с братишкой и увезла не в «хлебный» Ташкент или Куйбышев, а подальше от войны – в далекую Сибирь, в Алтайский край. Давно уже живу, многое забылось, а вот военное и послевоенное детство помню. Самое несмываемое из памяти воспоминание – постоянный голод! Наверно, и болячки-то все затаились с тех времен от этого проклятого чувства.

Никто, наверно, уже и не знает, что такое затируха. Горсть ржаной муки с отрубями высыпалась на лист фанеры, заливалась водой и раскатывалась крохотными шариками. Затем эти шарики высыпались в кипящую воду, и на поверхности всплывала белая пена. «Молочко!» – кричали мы. Потом сваренные крошки моментально съедались. И все равно после очень хотелось кушать. Наверно, с тех пор у меня осталась на всю жизнь привычка относиться к хлебу с уважением! Не забуду, как меня поразило, что герой всей молодежи Павка Корчагин из конъюнктурной саги о шепетовских комсомольцах «Как закалялась сталь» насыпал в тесто махорки! «Вот сволочь!» – думал я. – Это же ХЛЕБ, как можно!»

Особенно тяжело было зимой. Выходить на мороз не хотелось, да и не в чем было!

Весной всё оживало, можно было рвать молодую крапиву и щавель, мама варила из них что-то наподобие борща. В колхозе начинали высаживать картошку, и большие ребята по ночам ее выкапывали, хотя в поле постоянно находился объездчик-сторож – одноногий инвалид дед Кашенко. Иногда и нам кое-что перепадало. В оврагах и на окраинах колхозных полей росло много конопли. Из нее плели нитки, а из ниток делали мешки для картошки. У многих в огородах рос мак, но что-то наркоманами и не пахло.

Вернулся с фронта мамин брат дядя Володя! Как сейчас помню: я сидел на стульчике, сделанном из посылочного ящика. Дядя Володя вытащил из заплечного мешка две банки тушенки желтого цвета с нарисованной коровьей головой. Вскрыл банку красивой финкой, и я от волшебного запаха упал в обморок.

Потом узнал, что это и есть тот самый «второй фронт» – часть американской помощи воюющему народу. Возможно, эти самые банки не дали мне загнуться от голода! И после этого я еще должен ненавидеть Америку?

Жили мы в землянке. Это вырытая в земле канава, а вокруг нее были возведены стены из дерна. Стены укреплены тальниковыми палками и обмазаны глиной вперемешку с соломой и коровьими «лепешками». Посреди землянки была «буржуйка», сделанная из железной бочки. Топились сушняком из близлежащего леса и краденным на железнодорожной станции углем. Помню, что не мерзли.

Александр Огарев

Рассказ дедушки Петра Николаевича

Огарева, записанный с его слов

Родился я в 1940 году в бедном поселке. Мать моя, Василиса Сергеевна, была очень красивой женщиной. Когда началась война, моего отца, Николая Семеновича, забрали в местное ополчение защищать родной край. Словом, свои ранние годы я не помню; когда была война, я был еще очень маленьким.

Зато очень хорошо помню грустный день 10 июня 1946 года, когда мать получила письмо о том, что наш отец погиб в бою в сорок четвертом. Это был сильный удар для матери – она плакала целую неделю. Словами не могу передать, что я чувствовал, мне было жалко и маму, и себя, что не смогу уже увидеться с отцом.

Мне не успело исполниться и шести лет, а на мне уже было хозяйство. В сорок четвертом году у матери родилась девочка – моя сестричка Соня, поэтому приходилось присматривать и за ней... А мать целыми днями пропадала вместе со всеми в поле. Приходила домой поздно ночью, вся уставшая. Утром я кормил Соню, затем вместе с ней отправлялся на наш маленький огородик: поливал картошку, рыхлил землю. Бывали дни, особенно ранней осенью, в сентябре, что быстро холодало, мерзла земля, погибали деревья. А в теплые созревало больше, чем обычно, и тогда то, что оставалось, мы ездили в город и продавали: картошку, яблоки, лук, огурцы, а иногда меняли их у соседей на ягоды. Я, признаюсь, очень любил красную смородину. В школу я не ходил – она была разрушена; мать чему сама была научена, тому и меня научила.

Целый день с Соней я проводил на огороде. Она играла со своей деревянной куклой, я копался в огороде.

Каждый год мы копили купоны на сахар, и раз в году ко дню рождения Сони мать делала нам варенье из смородины и клубники. А бывало, приходилось нам на троих делить маленький кусочек черного хлеба.

По субботам, пока мать работала в поле, я прибирался в нашем маленьком деревянном домике: подметал старый потертый пол, мокрой тряпочкой протирал поломанные старостью кухонные полочки, мыл потрескавшиеся окна.

У матери были старые фотографии с нашим отцом. Каждый вечер она сидела под светом лампадки и вспоминала тот майский день 1936 года, когда она впервые встретила с Николаем на вокзале. Он был кондуктором, она ехала домой на поезде. Вскоре они стали встречаться. Николай переехал в поселок, построил дом. Спустя четыре месяца сыграли свадьбу. Еще мать рассказывала про тот прекрасный День Победы 9 мая. Люди кричали, смеялись, кто-то плакал, целовались друг с другом, обнимались. Как и многие женщины, наша мать ждала своего мужа. Но получилось совсем не так...

Жили мы прижато, но друг другу помогали. Через три года Соня уже могла разговаривать и даже помогать мне и матери по дому.

И все же это было как нельзя мое хорошее детство!

(Тут Петр Николаевич заплакал как дитя...)

Лариса Перебейносова Молоко

Послевоенные зимы были пышными. Я еще не хожу на улицу одна, мне четыре года. Утро. Окна намерзли внизу инеем, а наверху играют солнцем. Солнце ласкает желтые половицы. Тепло. Бабаня уже истопила печку, и так вкусно пахнет свежим ржаным хлебом! Это еще что! Мне в кружку налили молока! В разгар зимы корова наша не доится: теленка, говорят, Бог даст, дождемся. А корма не хватит – и коровы не видать. Вон, рассказывают, весной едва на веревках ее, кормилицу, подняли и на травку дотащили. От солнца да от ветра отошла, поднялась. Деданя сам как солнышко, борода рыжая, в зеленых глазах золотые зайчики сверкают. У меня волосы тоже золотые, в деданину бороду. Зовут его уважительно, Федор Васильевич, он на ферме главный. Молока принес целую бутылку поллитровую. Никогда так не было.

Тут Ганька зашла, соседка, противная, любопытная. Небось не видать ей, что у меня в кружке молоко? Я сейчас его отцежу изо рта на подбородок и на платье – сразу обзавидуется! Мне сказали: «Не балуй!» Ничего не понимают! Разве у кого-нибудь есть сейчас молоко? Ганька ушла – небось злится. Так ей и надо! Зачем напраслину возводила, будто мы ее кур приваживаем, чтобы в нашем дворе неслись. Да от такой Яги и куры не знают, куда деваться! Ну, лето придет!

После деданя с бабаней чего-то боялись. «Донесет, не донесет». Молока зимой больше не было...

Леонид Левин

Белый хлеб, горькая мука

Во время войны мы жили в Магнитогорске, эвакуированных в доме было много, жили бедно, но некоторые куда хуже нас. Я видел это собственными глазами. Хлеб, картофельная похлебка, морковный чай или просто кипяток с кусочком сахара-рафинада вприкуску – вот основное «меню» многих наших соседей по дому в военно-послевоенные годы. Но помню и другое.

У меня был одноклассник Коля Савченко, тихий большеглазый мальчик. По утрам я заходил за ним, и мы вместе шли в школу. Если я приходил слишком рано, когда Коля еще завтракал, его мама приглашала меня пройти в кухню и немного подождать.

У Коли я увидел настоящую, уже забытую мебель, которая по сравнению с нашими собранными с миру по нитке колченогими табуретками, казенными тумбочками и убогим подобием стола казалась роскошной. В прихожей стоял диванчик, на стене висело зеркало, в кухне – буфет со стеклянными дверцами, красивый кухонный стол.

Там я впервые после Днепродзержинска увидел белый хлеб – круглую буханку с аппетитной золотистой корочкой. Я был поражен: оказывается, на свете есть не только тот черный, клейкий, который мы получали по карточкам, но и это сказочное чудо! Я впиался в белый хлеб глазами, ощущая его упругость и хруст корки. От чудесного, неповторимого запаха кружилась голова, я невольно сглатывал слюну. Я мысленно просил: ну дайте попробовать хоть маленький кусочек! Но моя молчаливая просьба ни разу не была услышана.

Как-то раз я зашел за Колей совсем рано, когда он только еще начинал завтракать. Откусив хлеб, Коля недовольно отбросил кусок и капризно воскликнул:

– Опять черствый!

– Сейчас, сейчас, Коленька, – засуетилась Колина мама и достала из буфета... непочатый каравай!

Я не верил своим глазам. У нас хлеб не успевал черстветь. А уж такой белый... Да я бы за один присест съел ту, начатую буханку, какой бы черствой она ни была!

Когда я рассказал о виденном мной чудо-хлебе, мама объяснила, что отец Коли, подполковник Савченко, работает интендантом в лагере военнопленных на правом берегу. Там в лагере есть своя хлебопекарня. Вот оттуда и хлеб... А то, что меня не угощают, вовсе не значит, что Колина мама жадная. Для них этот хлеб – обыденность, привычная еда, Колиной маме просто в голову не приходит, что у кого-то при виде хлеба могут течь слюнки...

Я перестал по утрам заходить за Колей. Мы проучились с ним до пятого класса, а потом его семья переехала на правый берег.

* * *

Если кто-нибудь из ребят выходил во двор с чем-либо съестным, неважно, был ли это пирожок с картошкой или хлебная горбушка, пацаны бросались к жующему с криками:

– Сорок, сорок! Сорокни! – что означало: «Дай, оставь кусочек, поделись!» Кто-то делился, кто-то поскорее запихивал в рот последний кусок – на нет и суда нет.

В нашем дворе жил Жора Матухно, большой, толстый, щекастый мальчишка, он никогда ни с кем не делился, хотя постоянно что-то жевал. Мне он напоминал гайдаровского Мальчиша-Плохиша: такой же жирный, такой же обжора и, судя по нахальному взгляду и наглому поведению, такой же подлый. Он не дружил ни с кем, держался особняком. Если изредка принимал участие в общих играх, то сразу начинал качать права, спорил по пустя-

кам, орал, толкался. Получив несколько раз отпор, вообще перестал с нами водиться, окружил себя малолетками, командовал и помыкал ими.

Словно желая подразнить нас, Жора выходил во двор, жуя и держа в руке невиданные яства: то огромный кусок белой булки, намазанный повидлом, то бутерброд с толстым куском колбасы, то длинный пряник, покрытый розовой глазурью. Малышня моментально окружала Жору, заглядывая ему в рот. «Сорок, сорокни!» – тщетно просили мальчишки. Жора не обращал на них никакого внимания, он продолжал жевать, пока не сжирал все.

Отца Жоры привозили с работы на «эмке». Он с трудом вылезал из нее, здоровенный грузный дядька с большим животом, с таким же, как у Жоры, жирным, мясистым лицом. Шел к подъезду, ни на кого не глядя, ни с кем не здороваясь. Говорили, что он большая шишка в отделе рабочего снабжения (ОРС'е). Не знаю, как насчет рабочих, но свою семью он, похоже, снабжал неплохо.

Однажды Жора вышел во двор с карманами, набитыми печеньем. Съев несколько штук, он неожиданно произнес:

– Ну че, сорокнуть, что ли?

Пацанята недоверчиво приблизились к Жоре.

– Нате!

Он откусил половину печенья, а другую бросил на землю. Поднимая пыль, малышня бросилась подбирать огрызок.

– Нате, жрите! – хохотал Жора, бросая объедки в пыль.

– Что же ты, паскудник, делаешь, а? – возмутилась тетка, сидевшая на лавочке у подъезда, но Жора даже не посмотрел в ее сторону.

Малыши продолжали ползать в пыли.

– Кем же ты, гад такой, вырастешь? Ты же хуже фашиста! А вы чего смотрите? – повернулась она к нам, но, увидев, что мы, прервав игру в клек, с корявыми битами в руках уже направляемся в сторону «фашиста», с одобрением сказала: – Во, во! Дайте этому махно как следует! Гоните его к чертовой матери!

Увидев наше приближение, Жора повернулся и сначала пошел, а потом побежал к своему дому и скрылся в подъезде. Догнать нам его не удалось.

А правда, интересно, кем же он вырос, этот гаденыш? Наверняка нашел свою нишу в стане мерзавцев...

* * *

Один раз бабушка раздобыла где-то немного пшеницы. От зерна исходил затхлый, неприятный запах. Бабушка объяснила, что зерно долго лежало в кучах, не проветривалось и начало преть. От соседей она узнала, что где-то на Дзержинке есть кустарная мельница, на ней можно перемолоть зерно в муку.

Мы с мамой взяли торбочку с зерном и пошли на поселок Дзержинского искать мельницу. Идти пришлось довольно долго.

Наконец показались первые землянки – длинные невысокие холмики. Мама рассказала, что в этих землянках живут люди, приехавшие из Средней Азии. Они освобождены по каким-то причинам от службы в армии и привезены сюда на принудительные работы. Называлось это «трудовой фронт». Некоторые из азиатов, особенно пожилые, умирали здесь от истощения, потому что отказывались есть свинину.

Мы спустились по земляным ступенькам и зашли в первую землянку. Время было рабочее, в длинном помещении, оборудованном двухэтажными нарами, находилось всего несколько человек: два-три бородатых старика в длинных халатах, возившиеся у огромной печи, и молодой парень в тюбетейке, лежавший на верхних нарах. Парень тихо

пел заунывную песню, аккомпанируя себе на струнном инструменте с очень длинным грифом. Обитатели землянки почти совсем не говорили по-русски и так и не поняли, чего мы от них хотим. Мы вышли из землянки.

Редкие прохожие ничего не знали о мельнице, пожимали плечами. Наконец один из прохожих, местный пожилой татарин, плохо говоривший по-русски, показал рукой вглубь поселка и сказал:

– Пильрам, пильрам! Пильрам ходить, там найдешь!

Мы не могли взять в толк, что такое «пильрам». Вдруг маму осенило:

– Пилорама! – воскликнула она. – Надо найти пилораму и там спросить про мельницу.

Мы долго шли в направлении, показанном прохожим, но никакой пилорамы не находили.

Возле одной из землянок мы увидели двух девушек, подошли к ним и спросили насчет пилорамы. К счастью, девушки знали не только где находится пилорама, но и где можно перемолоть зерно. Мама разговорилась с девушками; оказалось, что они из Белоруссии, из тех мест, где родилась мама. Мама прослезилась.

Девушки звали нас в землянку, где находилось еще несколько женщин, все из Белоруссии. Они тоже были «бойцами трудового фронта». В землянке топилась печь, одна из девушек пекла оладьи прямо на раскаленной плите, вокруг конфорок. Нас угостили оладьями, они были очень вкусными, с похрустывающими краями.

Мама пригласила девушек к нам в гости. Две-три девушки-белорусски потом долго ходили к нам по выходным, пока не получили разрешение вернуться к себе на родину. Мама их всегда угощала «чем бог послал».

Наши скитания по поселку увенчались успехом: зерно было перемолото, мы вернулись домой с мукой.

Оладьи, испеченные из этой муки, оказались настолько горькими, что есть их было почти невозможно. Я вынес стопку оладий во двор и предложил их ребятам, предупредив, что оладьи с «сюрпризом». Оладьи были съедены вмиг, никто даже не поморщился.

Ребята сказали, что оладьи мировые, только чуть горьковатые. Я тоже съел парочку. Правду говорят, что за компанию все кажется слаще!..

Василий Омельченко

Чужой хлеб

В войну кусок хлеба был на вес золота. Есть хотелось постоянно. И порой мне до горечи делалось обидно, что до войны у нас столько было хлеба – целые буханки, а я, дурак, всё ел без хлеба.

В школе на большой перемене на деревянном подносе дежурный приносил горку тоненьких хлебных ломтиков. В классе вмиг воцарялась тишина. Каждый брал по кусочку и не ел – священнодействовал. Если бы этот крохотный кусочек, прозрачный, как лист бумаги, и ароматный до головокружения, думал я, разрезать на десять кусочков, и каждый из них превратился бы снова в такие же кусочки по сто грамм – вот наелся бы! Нам не верилось, что мы когда-нибудь наедемся хлеба досыта.

Но однажды такой случай мне представился. Придя в школу, я, как обычно, сел за парту, сунул было под парту свой портфель, а там что-то есть... Пошарил я это «что-то» – сеточка, авоська, а в ней сверток шелестит, а в свертке – я вмиг определил – кусок хлеба! Грамм на триста, а может, и на все пятьсот... У меня аж дух захватило: нам, школьникам, на целый день дают по триста, а тут сразу столько!

Радость-то моя была чуть скованной, сжатой, я ведь сразу догадался, откуда хлеб: по вечерам в нашем классе сидят взрослые, днем или ночью они работают, а вечером учатся. Забыл кто-то...

Конечно, о своей находке надо было сказать учительнице, это я сразу подумал, да я и хотел уже сказать, но... мне очень хотелось хлеба. И это желание пересилило во мне все другие чувства и мысли. Да и Вовка, сосед мой по парте, узнав о находке, сделал большущие глаза и ошалело воскликнул:

– Чур, на двоих!

– Это кто-то забыл, – проговорил я осипшим вдруг голосом – в горле у меня запершило, и я сказал это больше для того, чтобы снять с себя хоть капельку ответственности, и на всякий случай предложил, хотя не хотел этого: – Может, отдадим учительнице?

– Понятно, что кто-то забыл, – недовольно прошептал Вовка и нетерпеливо сглотнул слюну. – Но, может, тот кто-то не придет: забыл и забыл...

– Может, – согласился я.

И мы заговорщически переглянулись.

Мы хорошо понимали, что ищем лазейку к овладению таким богатством, мы ловчили – уж больно хотелось хлеба.

Учительница что-то рассказывала, что-то писала на доске, но это всё нас не касалось, мы были словно в другом мире.

– Может, и не придет, – повторил я охотно, хотя не очень верил в это, а скорее, и совсем не верил.

Пальцы мои сами уже ровненько-ровненько разломили под партой хлеб пополам. На ощупь я определил, что один кусок все-таки оказался больше. Я бы взял его себе, если б Вовка не смотрел, – ведь я нашел. Но Вовка посмотрел, и тогда я спрятал хлеб за спину.

– В какой руке?

Он всегда говорил – в правой, я знал это и специально положил больший кусок в правую, чтобы он подумал, что я держу его в левой. Но он совсем не думал об этом и сказал торопливо:

– В правой!

И получил больший.

О, какой это был вкусный хлеб! Мы отщипывали его маленькими, совсем крошечными кусочками и клали в рот, подставляя другую ладонь, чтобы не обронить на пол ни единой крошки. Хлеб таял во рту, как сахар.

Не помню, о чем был тогда урок. И какой урок. Что нам учительница рассказывала. Кого вызывала. Кому что ставила. Мы были на седьмом небе от счастья, мы праздновали!

Мы наелись хлеба почти досыта. Чужого, правда, но в тот момент об этом мы не думали.

Когда за милую душу уплели хлеб – довольные, переглянулись. Потом переглянулись еще раз – короче, стеснясь, что ли, друг друга. Нам было и хорошо, и как-то не по себе, тревожно немного: мы ждали чего-то. Нет-нет да и поглядывали на дверь.

И вдруг в конце урока в дверь раздается стук. Короткий, негромкий – его, наверное, даже не все услышали. Только учительница. И мы. И в следующее мгновение дверь открывается, и в класс вступает одной ногой молодая, очень худая женщина в голубом берете.

– Извините, пожалуйста, я тут сумочку вчера забыла, можно взять?

Учительница кивнула, женщина вошла и направляется прямо к нам, к нашей парте. Спокойная такая, вежливая. Видно, очень добрая. И виновато улыбается: извините, мол, что я вам помешала, я сейчас уйду, только свою сумочку с хлебом возьму.

Я сижу ни жив ни мертв. Я проклял уже всё на свете. Я сгорал от стыда. Сейчас она поравняется со мной, сунет руку под парту и... Что я скажу ей? Какими глазами буду смотреть? А что потом скажу нашей учительнице? Почему я раньше не подумал об этом? Я даже прижмурил глаза.

Когда она подошла, я вынул свой портфель. Она и мне виновато улыбнулась. Наклонилась, провела рукой под партой и извлекла оттуда порожнюю, тощую сеточку-авоську, темно-зеленую, местами повязанную черными нитками. Меняясь в лице, глянула на меня, и я похолодел от стыда и страха...

К моему удивлению, она не накинулась на меня, не разразилась гневом и даже ничего не спросила о хлебе – где он и куда делся. Будто его тут и не было. Только глянула еще раз, так, что меня аж в сердце кольнуло. Нет, совсем не зло посмотрела она, а как-то так болезненно и горько... Я взгляд ее запомнил на всю жизнь. Глянула и молча пошла себе.

– Извините, – сказала учительнице и тихонько затворила за собой дверь.

Урок шел своим чередом, а я сидел как истукан и куда бы ни посмотрел: на парту, исчерченную, изрисованную, на доску с белыми разводами, в окно, за которым весело сновали воробьи, – всюду видел перед собой глаза той женщины. На учительницу я не мог смотреть. А на Вовку не хотел.

Мне тогда ничего не хотелось, разве что провалиться сквозь землю. Я сидел и думал о том, что женщине этой тоже, наверное, хочется есть. Она, видимо, пришла сейчас прямо с работы, с ночной смены, как и моя мать. Что, наверное, как и моя мать, ночью делала снаряды и, как у моей матери, у нее есть такие же пацаны, как и мы с Вовкой. И что тот хлеб она несла им.

И еще я подумал: что теперь она им скажет, почему не принесла хлеба?

Евгения Дымова Пирожки с капустой

Наш знаменитый Первый Староводопроводный тупик, который мы упорно называли улицей, одним концом упирался в глухой и высокий заводской забор, а другим выходил на дорожку, по которой горожане ходили в баню, индустриальный техникум, нарсуд и прочие конторы, расположенные на Ярославке, в Мытищах. Но главной достопримечательностью для ребятни всего города была Курочкина горка, высокая и крутая. Называлась она так в честь одного парня, чей дом стоял у горки. Рассказывают, что в голодный военный год стащил он где-то курицу и съел ее чуть не с перьями. За что хозяином птицы был нещадно бит. Со временем это событие из памяти тупиковцев стерлось, зато парень получил прозвище, которое его младшие земляки тут же увековечили в названии горки. Все свободное время мы проводили там.

Вот и в тот морозный день, когда мы высыпали на горку, какой-то пацан крикнул мне: «Женька, беги домой, к вам новые соседи приехали!» Со всех ног бросилась я к дому. Вообще-то на нашей улице стояло всего пятнадцать частных домишек, и все про всех знали. Перед войной через стенку с нами жила одна семья с Рязанщины. В войну муж ушел на фронт, да и пропал без вести. Вдова же, помаявшись с двумя малышами в голодных Мытищах, подалась назад, оставив пустующее жилье.

Появление новых людей на нашей улице, где годами мало что менялось, сразу стало событием. Наш небольшой двор был полон. Припелась даже старожительница, которую для удобства произношения называли Марьяванной. И посмотреть было на что. Таких молодых, красивых и – главное – богато одетых женщин наша захолустная улица не видела. Это были две сестры, очень не похожие друг на друга. Одна – беленькая, с курносым носиком, приветливо всем улыбалась. Вторая – брюнетка, с более строгим лицом, не обращая внимания на собравшихся, командовала крепкими мужичками, которые сгружали вещи. Когда всё было внесено и кое-как расставлено, блондинка вдруг огорошила всех: «Заходите в гости, новоселье отметим». Сестры поднесли взрослым по рюмке водки, а нас, детвору, одарили конфетами. Это был настоящий праздник на нашей улице!

На другой день, идя из школы домой, я увидела, что дверь в соседские сени чуть приоткрыта. Любопытство подтолкнуло меня, и я зашла. «А, наша юная соседка, – сказала черненькая, которую звали Людой, – пирожка хочешь?» Еще бы не хотеть, если мы и хлеб не всегда видели. Она достала из печи противень, наполненный кучей поджаристых румяных пирожков, от аромата которых у меня даже закружилась голова. Обычно стеснительная, тут я забыла про все, глотая аппетитные пирожки один за другим – с капустой, яйцами, с жареным луком. Так я стала частой гостьей в этом уютном доме, где так тепло привечали детвору. И никогда не уходила отсюда с пустыми руками. Нам нравилось приходить в это светлое, сытное и уютное тепло из наших домов, где измученным заботами родителям было не до нас, где из каждого угла глядела на нас нужда.

И только взрослые не разделяли нашей радости, хотя Люда и ее сестра Нина были по-прежнему приветливы со всеми. Спустя какое-то время по улице поползли завистливые слухи: неспроста, мол, в такое голодное время сестры живут безбедно. Все чаще возле нашего дома останавливались черные «эмки», из которых выходили хорошо одетые мужчины и исчезали в половине, которую занимали соседки. А потом долго оттуда доносились звонкий смех и музыка. Тогда мать начинала недовольно швыркать посудой на кухне, а однажды, когда я собиралась, как всегда, к соседкам, она строго заявила: «Не ходи туда – там грязно». Я никак не могла понять, о какой грязи она говорила, если в их комнатке всё блистало чистотой.

Прошло два или три года. Всё реже появлялись машины у нашего двора, да и сестры как-то изменились. Нет, они по-прежнему были приветливы и всегда находили для нас гостинцы. Но какая-то тревога появилась в их глазах и поведении. Сочувствуя им всем сердцем, я однажды спросила: «А вы не больны, может, за лекарством сбегать?» «Нет, милая, хуже, вырастешь – узнаешь», – ответила Нина.

А однажды летом, когда мы играли на улице, к нашему дому подкатил наводивший на всех ужас черный «воронок». Милиционеры вывели и посадили в него сестер, бледных, со сжатыми губами, в наспех наброшенной одежде. В толпе соседей кто-то злобно бросил: «Догулялись...» А мы, детвора, со слезами смотрели вслед. Нам было непонятно, как можно таких хороших, добрых людей сажать в тюрьму? Я с недоумением вслушивалась в разговоры взрослых. Как всегда, самым знающим оказался дядя Коля. Оглядываясь вокруг с опаской, он полушепотом рассказывал: «Начальник один к ним ходил. Его посадили, ну а их за то, что связаны с ним были. Может быть, разберутся – отпустят».

В эту ночь я спала плохо. А утром, надеясь, что всё «выяснили» и сестры уже дома, побежала к ним. Дверь была приоткрыта. Я порадовалась, распахнула ее и вошла. В комнате находились двое мужчин: один, милиционер, сидел за столом и что-то писал, а второй, высокий, в штатском, ходил, скрипя хромовыми сапогами по половицам, рассматривал какие-то вещи и диктовал: «Подушки пуховые – три, самовар медный – один...» Увидев меня, недовольно бросил: «Тебе чего?» Слезы брызнули у меня из глаз – я поняла, что сестры уже никогда не вернутся сюда, и стремглав выбежала из комнаты. Последнее, что я успела увидеть, был торчащий из печи пустой противень...

Светлана Крапивина

Эскимо на палочке

В начальных классах я училась в той школе, где работала мама, и нам приходилось ходить пешком от Александро-Невской лавры до 6-й Советской улицы. Наш класс учился во вторую смену, а потому в школу я добиралась самостоятельно. Однажды я шагала со своим тяжелым ранцем, сделанным из фанеры и обшитым серой парусиной, мимо госпиталя. Некоторые выздоравливающие раненые вышли на улицу, курили, беседовали, и тут появилась я. Мне строго-настрого было запрещено вступать в беседу с посторонними людьми – в городе было не очень спокойно. Но они не просто подошли ко мне, а протянули эскимо на палочке. Какая подстава – меня хотят не просто похитить, а отравить! Я шла по улице, не решаясь есть мороженое, а оно начало таять и течь по руке. Я лизнула один раз, второй и почувствовала: как же это вкусно! Больше я не могла терпеть эту муку и съела это мороженое. Со мной ничего страшного не произошло, но маме я на всякий случай ничего не рассказала. Прошло несколько дней, и я в чем-то провинилась. Мама, в свойственной ей манере, стала читать мне нотацию, я же горько заплакала и сказала ей: «Мама, не ругай меня, все равно я скоро умру. На днях дяденьки дали мне мороженое, и я его съела...» Мама рассмеялась, обняла меня и объяснила, что ничего страшного от этого мороженого мне уже не грозит, а брать еду от посторонних все же нельзя...

Ян Хуторянский

«Три мандарины»

После войны многие одесские предприятия стояли разрушенными. Папин завод имени Дзержинского перешел с выпуска стального проката на проволоку, гвозди и металлические сетки.

Маме повезло: кондитерской фабрике потребовались женщины в цех, где очищали от кожуры плоды цитрусовых фруктов. В первый же день начальник собрал новеньких и записал, сколько у кого детей. Затем сказал: «Здесь ешьте, сколько сможете, а домой уносите по три мандарины на каждого ребенка». Так мы с сестрой полакомились давно забытыми мандаринами, которые много лет делали из ваты для новогодней елки.

Спустя неделю-другую мама уже смотреть не могла на эти плоды, а мы с сестрой встречали ее во дворе и заглядывали в сумку. Скушав без промедления положенные нам цитрусовые, брызгали друг в друга соком, выдавливая его из кожуры мандаринки. Это была наша первая парфюмерия.

Татьяна Горина

Отец никогда не ел мандарины...

Папа про войну ничего не рассказывал. Да я особенно и не спрашивала.

Но знала, почему он никогда не ест мандарины.

Ему было шестнадцать лет, когда началась война. В сентябре немцы подходили к Кременчугу. Мой дед со своей второй женой эвакуировались, и почему мой папа с ними не уехал, я так и не узнала. Папа пошел на восток, на Кубани рыл оборонительные рвы. А потом прибил к регулярным советским войскам, которые отступали на восток. И так до Кавказа. Шли строем, плотно прижавшись плечами, даже привалы не делали, а спали по очереди на ходу.

Шли по абсолютно оранжевой дороге. Мандарины! Их не ели, а просто выдавливали сок, остальное выплевывали. Это была единственная еда.

А потом всё очень просто. Приказ Сталина «Ни шагу назад!». Загранотряды.

С одной стороны – немцы, с другой – внутренние войска.

Папа всегда говорил, что выжил по глупости, по случайности и потому, что его, совсем юнца, жалели старшие.

Все свои медали он подарил внуку, и среди них есть его первая – «За оборону Кавказа». Провоевал до самого конца войны. И никогда после не ел мандарины.

Екатерина Терешкевич

Про колбасу, пельмени и мандарины

У каждого ребенка в Загорске была мечта – попасть на елку в Кремль. И почти у каждого была иллюзия, что если попадешь в Кремль, то обязательно увидишь Сталина. Я тоже очень мечтала об этом: Кремль, красные звезды и Сталин! И однажды моя мечта чудесным образом сбылась. В организации кремлевских елок работала папина племянница, она то меня туда и провела.

Всё было огромным! И Георгиевский зал, и красивый ковер, и величественная елка... Там я впервые увидела «настоящих» Деда Мороза и Снегурочку. Все маленькие дети рассаживались прямо на полу, на этих прекрасных коврах. Там выдавали подарки с прекрасными конфетами! Подарки были в железных коробочках, которые хранились потом много-много лет. В общем, апофеоз детских мечтаний. Правда, Сталина на той елке я так и не увидела, но впечатлений было столько, что меня это и не расстроило.

...Игрушки на Новый год нам не дарили, только конфеты и мандарины. Причем купить мандарины в Загорске было невозможно, за ними ездили в Москву. Из столицы везли докторскую колбасу, останкинские пельмени и мандарины. Это было всё самое вкусное, что лишь можно представить! Колбасы покупали по несколько огромных батонов, поэтому в то время ходил анекдот: «Что такое: длинное, зеленое, пахнет колбасой? Электричка!»

Родители приезжали из Москвы, сразу же варили пельмени – мы их обожали! Могли съесть в огромном количестве! И обязательно делали бутерброды с докторской колбасой и свежим хлебом. А мандарины можно было таскать со стола и прятать под подушку. Поэтому сначала я ела мандарины «официально», вместе со всеми, потом втихомолку днем, а потом еще ночью – под подушкой. В итоге я так наелась мандаринами, что у меня началось отравление – всю ночь рвало! Но от этого любить мандарины я меньше не стала.

Василий Омельченко

Первые конфеты

Вряд ли кто из нынешних ребят может хотя бы приблизительно вспомнить, когда впервые в жизни ел конфеты. Какие они были на вкус, на цвет и как назывались. Сейчас конфеты едят даже беззубым малышам, и тем почти все равно, что у них во рту: конфеты или соска.

А я свои первые конфеты хорошо помню. Потому что, когда впервые попробовал их, не ел, а именно попробовал, мне было уже немало лет – целых шесть, по нынешним временам – школьник!

Было это в 1946 году. Я называю дату потому, чтобы легче было понять, почему свои первые конфеты я попробовал так поздно: родился накануне самой войны с фашистами, а в войну какие конфеты... Да и после войны время было очень трудное: все разрушено, а тут еще неурожай... Если б хоть отец был, но отец мой погиб на фронте. Мать работала одна. На турбинном заводе. Уборщицей. Вечерами подрабатывала в станционных буфетах, полы мыла. За это ей давали несколько пирожков с мясом или горсточку конфет. Пирожки она отдавала нам, детям: нас было трое, я – самый младший. А конфеты чаще даже не показывала нам, считала, что это не еда, и, как только принесет, прячет в тумбочку, а тумбочку на замок, а ключ себе в карман. Когда собиралось конфет десятка два-три, мать носила их на базар к проходной завода, чтобы на вырученные деньги купить еды существенней: хлеба, молока, картошки. И вот однажды это дело доверила мне: мать заболела, братья были в школе, а денег на хлеб не было.

Опыт торговли я уже имел. Как-то я носил на базар продавать мыло. Мама тоже болела и денег на хлеб у нас тоже не было. Провожая на базар, напутствовала: «Проси пятьдесят рублей, если будут торговаться – соглашайся за сорок, ну, а окончательно можешь отдать и за тридцать». Только я достал кусочек мыла, меня сразу обступили. Сколько, спрашивает одна женщина, просишь за этот смылочек. Я сказал, что это, во-первых, не смылочек, а мыло, и мы только раз умывались. Потом сказал, что прошу пятьдесят... Если будете торговаться – за сорок, а окончательно отдам за тридцать. Сунула она мне тридцатку, взяла мыло и была такова. И я тоже пошел, довольный собой. Правда, кто-то бросил мне вслед: ну и дурачок... Только потом, дома, я понял почему.

Словом, опыт торговли у меня уже был, поэтому мама и доверила мне продать конфеты.

– Рубль пара, – сказала она, – дешевле не отдавай, конфеты очень хорошие, лимонные дольки, запомнил?

– Запомнил, – сказал я, поедая глазами конфеты, которые мать аккуратно доставала из тумбочки.

– Только ж смотри, ни одну не съешь по дороге... и деньги не потеряй!

– Не съем, не потеряю...

Я во все глаза смотрел на конфеты. Какие красивые, солнечные такие, веселые. Наверно, очень вкусные. Мать нашла старую дощечку от посылки, застелила ее газеткой, ровненько разложила в два ряда конфеты, один ряд желтой стороной вверх, другой – зеленой. В каждую конфету ткнула пальцем.

– Ровно двадцать, – сказала, – как раз на десятку.

Я согласно кивнул. Осторожно взял дощечку с конфетами, вышел на улицу.

Иду, несу их перед собой, как хрусталь, боюсь споткнуться и стараюсь не смотреть на них, а конфеты мои глаза как магнитом притягивают: уж больно красивые они, а пахнут... Я оглянулся назад, поднес дощечку с конфетами ближе к носу – всю жизнь бы дышал таким запахом! Потрогал одну конфету – твердая. И другая твердая. Все, стало быть, твердые.

Опять оглянулся: мама в окно не смотрит. А что, если... чуть-чуть попробовать, только одну конфету, только одну и чуть-чуть... Как у нас пацаны говорят, когда пряник или печенье вдруг кто-нибудь вынесет: на, пробуй, только не кусай...

Кусать, понятно, я не собирался, материн наказ для меня – закон. А если лизнуть... она твердая, эта лимонная долька, как камешек. Еще раз оглянулся на дом – мать не смотрит. Пошел медленней. Не глядя на дощечку, нащупал одну конфету – твердая... Осторожно поднес ко рту, язык ее сам – раз и за щеку. Я даже не понял, как это получилось. И в тот же миг во рту разлился такой вкус, сразу сладкий и чуть кисленький, но больше сладкий, такой вкус, что у меня аж под ушами закололо – никогда в жизни я ничего не пробовал вкуснее. Я испугался, что конфета растает, и тут же положил ее на место.

Завод был недалеко. Я шел, счастливый, что попробовал конфету, знаю теперь, какие они на вкус, и думал о том, что я очень хитрый. Думая так, я нащупал на дощечке другую конфету, глянул по сторонам и отправил ее за щеку, так незаметно я это сделал, будто муху от лица отогнал. И снова блаженствовал.

Хитрым, наверно, бывает каждый. Один больше, другой меньше. Одним удается это, другим – нет. Мне – не очень удастся, вечно я попадусь. Как-то еще при немцах ходили с матерью в деревню на менку. Вещи меняли на кукурузу. Чтоб потом кашу варить. Ночевали у одной бабушки. У нее был петух, один-единственный. Дело было зимой. Утром я открываю в сени дверь, а за мной петух выскочил, точнее, хотел выскочить, а я его нечаянно дверью прижал, да так, что он больше и не поднялся.

Понятно, перепугался я насмерть. И петуха жалко. И попадет же мне теперь! Схватил бедолагу и бегом к колодцу. Там ледяная горка от воды образовалась. Положил я его на лед: скажу, что выбежал петух на улицу, бежал, бежал, добежал до колодца, а тут поскользнулся на льду и голову себе разбил. Так я потом и сказал бабушке, когда она спросила меня про петуха. Выслушав, она как-то интересно посмотрела на меня, словно приглядываясь, я это или не я, покивала головой, вздохнула и в сердцах проговорила:

– Чтоб тебя, пострел, дождик намочил!

Теперь, когда, случается, меня мочит дождь, я знаю, за что он меня мочит, и не сержусь на него.

Пока я вспоминал этот случай, незаметно для себя я перепробовал все конфеты, и в этот момент не было, наверно, мальчишки счастливее меня.

Сияя от радости, я подошел к заводу, где у проходной уже собрался базарчик. Я пристроился в рядок к женщинам, которые разложили перед собой кучки огурцов, картофеля, пучки лука. Сипло и настойчиво баском запел гудок, и вскоре из проходной повалил рабочий люд: женщины, подростки, старики. Все худые-прехудые. Вышли и несколько мужчин. Деньги из карманов достают, торгуются, покупают. А ко мне подойдут, глянут на дощечку и дальше себе идут. Конечно, конфеты не еда... Но все равно кто-нибудь купит, успокаивал я себя, мать же всегда продает...

Из проходной уже вышли все рабочие. Базарчик быстро редел, женщины-торговки расходились. А ко мне по-прежнему никто не подходил. Вернее, подойдут, глянут и дальше идут. Я уже совсем забеспокоился: неужто никто не купит? Посмотрел на конфеты, а они, бедные, уже сами на себя не похожи: светленькие лепестки, а не конфеты лимонные дольки... Кто купит такие? Только теперь я пожалел, что все их перепробовал... лучше б одну съел и потом признался б матери. Зато все продал бы, кроме одной. Эх, как иногда бывает... сделаешь что-то, а потом жалеешь, локоть себе кусаешь... Ну зачем я их пробовал, эти конфеты? Как теперь идти домой? Что матери сказать? Какой же я дурак...

Слезы сами навернулись на глаза. Проходная завода помутнела, посмотрел на конфеты, через слезы они казались большими, чем были на самом деле. Вот так схитрил... Как же теперь быть? Мать отдерет как сидорову козу... И денег на хлеб не будет. Если бы я сейчас

только выходил из дому, ни за что бы не притронулся к этим конфетам, продал бы все до одной и деньги бы принес до копейки.

Я уже стоял один у проходной завода, с дощечкой с конфетами, потерявшими свой былой вид, и несчастнее меня, наверное, не было на всем белом свете. И тут подходит ко мне, прихрамывая, еще один рабочий, в замасленной фуфайке, воротничок гимнастерки выглядывает, лицо в пороховинках, будто на лице иголки для наковки пробовал, снаряд, наверно, разорвался перед ним или мина. Подходит, одна нога у него скрип-скрип, на протезе, значит. Посмотрел на меня, на конфеты. Протянул руку к моей голове, я подумал, за ухо возьмет – может, он видел, как я пробовал конфеты... И я уже вобрал голову в плечи, еще мгновение – и дал бы деру, но он не взял меня за ухо, а вдруг потрепал по плечу и незло так спрашивает:

– Что это у тебя, парень?

– Конфеты, – говорю, – лимонные дольки.

Кашлянул он, поинтересовался, где взял и где мать, отец. Я всё рассказал как есть.

Постоял рядом. Повздыхал. Спросил:

– Почему же они, твои лимонные дольки?

– Рупь пара, – ответил я поспешно, как и наставляла мать. И замер в ожидании: неужто купит?

– Сколько у тебя их тут? А ну, давай вместе сосчитаем.

Сколько их, было хорошо видно, что там считать, но мне показалось, что он хочет проверить, как я умею считать. И большим пальцем с сизым ногтем – наверное, как я однажды, молотком по нему угодил – принялся считать тонкие, как листики, лимонные дольки, а вернее то, что осталось от них:

– Пять, шесть... двенадцать, тринадцать... два десятка, значит.

– Два, – с готовностью подтвердил я.

– Вкусные? – спросил он лукаво.

– Очень, – торопливо заверил я. И мне показалось, что он видел, как я пробовал конфеты.

Неспешно он полез в боковой карман фуфайки, вынул деньги, отсчитал сколько надо, подает мне:

– Держи, парень, и домой бегом к матери!

Не веря своим глазам, я взял деньги и протянул ему взамен дощечку с конфетами, но он снова потрепал меня по плечу:

– А конфеты сам съешь!

Я вовсе опешил.

– Да что вы, дяденька?!.

Он улыбнулся.

– Вырастешь, заработаешь и угостишь меня как-нибудь, – сказал он, подмигнул мне как своему старому знакомому и, сильно припадая на поскрипывающую ногу, быстро зашагал к проходной завода. А я – бегом домой. Деньги отдал матери, все до копейки. Конфеты поделил с братьями.

...Никто ничего не делил. Никаких денег матери я не отдал. Потому что никто тогда ко мне не подошел. Ничего не спросил. Никаких денег мне не дал. Это я придумал... Мне так хотелось, чтоб кто-то тогда ко мне подошел. Потрепал по плечу...

Еще с полчаса простояв у проходной завода, сгорбившись, я побрел домой.

Когда мать всё узнала, когда увидела опробованные мной конфеты, она задала мне такую нещадную трепку, что я запомнил ее на всю жизнь. Как и те первые свои конфеты.

Потом, правда, конфеты мать отдала нам.

– Ешьте, куда их теперь...

Съели, конечно. Только вкус теперь у конфет был иной, под ушами, как тогда, от удовольствия не кололо – кололо в сердце...

Пили...

Почему в России так много пьют? Ответ на этот вопрос не может дать ни статистика, ни социология. Однако если исходить из цифр, Россия не удостоилась даже бронзы во всемирном состязании по потреблению алкоголя – мы занимаем всего лишь четвертое место, пропустив впереди себя Молдавию, Чехию и Венгрию. Правда, не учитывается самогон, стеклоочиститель и прочие спиртосодержащие жидкости, не предполагающие их потребление внутрь! Но, несмотря на столь скромное место в мировом потреблении, именно русское пьянство вошло в культурную мифологию. Страны южные, где издавна культивируют виноградную лозу, пьют вино – пьют его давно, усердно, повседневно, ежевечерне, cedят по плоточку, наслаждаются букетом. Южное пьянство, таким образом, оказывается «мягким». Более того, даже считают, что вино полезно для здоровья. Чехия и Венгрия потребляют пиво – в огромных количествах. Но ни в одной из этих «передовых» стран алкоголизм не превратился в национальное бедствие, как в нашей стране. Северные страны пьют водку – «залпом», большими дозами, сморщившись и крякнув. Пьют от холода, от тоски, от усталости, от горя и от радости. Это пьянство северное. Наш отечественный фасон. Незабвенный Виктор Черномырдин оставил замечательный афоризм «Вино нам нужно для здоровья, а здоровье – чтобы пить водку».

В России послевоенной пили, судя по статистике, как всегда – не больше и не меньше. Только жизнь была более обнаженной – всё на виду. Картинки пьянства остались в памяти.

Одно только горькое замечание: сегодня от пьянства умирает гораздо больше мужчин молодого и среднего возраста...

Борис Иванов Киселёв и гитара

1947 год. Моя семья – а это всего лишь я, восьмилетний малолетка, и затюканная работой мать – обитала на самой-самой окраине небольшого шахтерского городка Прокопьевска в Кузбассе, в поселке Южный на улице Павлоградской. Дальше поселка была только цепь обвалов, образующихся после того, как из недр земли выдадут «на-гора» необходимый стране уголь. В залитых водой обвалах мы купались – и у каждой пацанской компании был свой личный обвал. В сухих – играли в футбол. Мячом поначалу была какая-то старая шапка, потом обшитая оболочкой куча тряпок, и наконец, по мере роста мастерства, общими усилиями был куплен мяч. Ах, какой был замечательный мяч! Сначала его по очереди надували ртом, аж приседая от натуги, потом завязывали плотно пипку, прятали ее под шершавую оболочку и шнуровали сыромятным шнурком. Наш мяч был предметом зависти соседских улиц, и иногда мы даже снисходительно приглашали соседей на игру в свой обвал. Другим захватывающим делом было взрывание капсюлей. Мы добывали их на терриконах, куда по канатной дороге вагонетки вывозили из шахты породу и наверху ее вываливали. В этой породе и попадались невзорвавшиеся капсюли. На дне обвала мы разжигали костер, бросали туда капсюль и стремительно мчались в укрытие. Несколько секунд – и взрыв! Особо ценился медный капсюль – его взрыв напрочь разметывал костер.

Улица Павлоградская состояла из двух десятков частных домиков с непременно огородами и двух оштукатуренных бараков о двух этажах. В каждом бараке обитало по два десятка семей. На всех насчитывалось человек тридцать пацанов разного возраста (кстати, в ходу у нас было слово не «пацаны», а «огольцы») и не более десятка взрослых мужиков. Главы семейств были существами суровыми и загадочными, мы их видели редко и слегка побаивались. На работу они уходили, когда мы еще спали. Обычно в 5 утра расположенная рядом шахта давала первый гудок – это чтобы рабочий люд проснулся и готовился к трудовым подвигам. В 6 часов второй гудок – все, выходи из дома!

В мирной жизни улицы дважды в месяц были дни тревоги и беспокойного ожидания. Это были дни «аванса» и «получки». Уже с середины дня матери семейств становились озабоченными и сердитыми, нещадно раздавая ребятам подзатыльники. А часам к 7–8 вечера начинали тревожно глядываться в начало улицы – надеялись издали углядеть, в каком состоянии появится «мой». Главное было не в том, что появится «выпимши», – это дело законное, привычное и неискоренимое. Главное, чтобы шел все-таки на своих двоих и не пропил бы всю получку. Обычно отцы семейств являлись домой под хорошим хмельком, но добрые и веселые, со всеми здоровались, раздавали угощение. Именно в эти дни безотцовщина судорожно сглатывала слюну, толкалась неподалеку, ожидая, когда из подъезда появится счастливец с сытыми глазами и отцовскими подарками в карманах.

В один из таких дней мой погодок Генка Киселев, ожидая отца в куче огольцов, выбрал момент тишины и солидно произнес, глядя куда-то в сторону:

– А мне батя обещал гитару купить, – замолк, ожидая реакции.

Мгновенно установилась тишина и мы все уставились на Генку. Гитара? Да быть такого не может! На всей нашей Павлоградской улице было лишь два музыкальных инструмента – две старенькие балалайки. А тут вдруг – гитара! Для Генки!

– Врешь ты, Генка! Быть того не может! – был единодушный вердикт. Генка, видно, и сам сомневался, не верил, он лишь насупился и не спорил.

День получки заканчивался. То одна, то другая мамаша, углядев «своего», торопилась подхватить его и утащить в недра барака. Если тишина в квартире сохранялась – значит, все

в порядке, полочка сохранена и теперь надежно припрятана. «Сам» же, лихо выбив ладонью пробку из принесенной «чекушки» и приняв внутрь ее содержимое, мирно уснул до утра.

И вот в начале улицы показался Киселев. Приветливый, добродушный, разговорчивый – и в руках его действительно была гитара! Блестящая, новенькая, с шикарным бантом на грифе! Не гитара, а мечта, такой не было не только на нашей Павлоградской улице, но, наверное, и во всем поселке! Генка стремглав бросился к отцу, они прошли мимо, при этом Генка бросал на нас горделивые взгляды: «Я же говорил, говорил! А вы-ы...»

Киселевы и гитара скрылись в темном зеве подъезда. Разойтись мы, конечно, не могли, тут же возник жаркий спор о достоинствах Генкиной гитары. Мы с нетерпением ждали: через час ли, через два, но Генка обязательно появится с инструментом, может быть, даже даст кому-нибудь поддержать в руках это чудо, подержать новенькие струны!

По летнему времени окна во многих квартирах распахнуты. Открыты они и у Генки. И вот оттуда через какое-то время стали доноситься голоса – самого Киселева и его жены, Киселихи по-уличному. Преобладал, конечно, голос Киселихи. Он то спадал, то повышался до крика. Изредка слышалось глухое «бу-бу-бу» Киселева. Явно назревал скандал. Потом, как перед грозой, небольшое затишье, и все взорвалось пронзительным криком «И-и-и... Убиваю-ю-т!», и из подъезда вихрем вылетела Киселиха. За ней гнался Киселев. Всклопоченный, с гитарой в руке, он пытался схватить жену то за развевающиеся волосы, то за одежду. Он не дотягивался чуть-чуть, еще три-четыре шага – и догонит, схватит, и тут уж ей не поздоровится! Но внезапно Киселев споткнулся и со всего маху грохнулся на дорогу. Взвилось облачко пыли. А Киселиха, не переставая заполошно кричать свое «а-а-а...», вихрем пронеслась мимо нас и скрылась за углом дома.

Киселев полежал на дороге, потом сел, потом медленно поднялся и побрел к подъезду. Внезапно он остановился, поднял гитару и изо всех сил хряснул ею по перилам крыльца. Гитара жалобно пискнула, веером брызнули блестящие щепки. Киселев отшвырнул оставшийся в руках гриф и скрылся в подъезде. Несколько секунд на улице стояла полная тишина. Потом женские головы в окнах исчезли, мы – огольцы – занялись игрой в «ножички», всполюшившиеся было куры вновь озабоченно стали рыться в пыли.

Так и осталась улица Павлоградская без гитары, лишь при двух старых балалайках...





Валентина Никитина

Безысходность

Для меня первый год после смерти папы был годом разгула. Я в третьем классе, взрослая, самостоятельная. Не надо никого слушаться, в школе можно уйти с урока через окно, не готовить домашнее задание и вообще не кланяться (как другие) у Веры Владимировны сумку с учебниками и тетрадями, которую она отбирала у нас, отправляя за родителями. Можно безудержно хвастаться хорошей, сытной, просто замечательной домашней жизнью, потихоньку сглатывая голодную слюну при виде кусочка хлеба в руке своих товарищей. Была свобода от всех обязанностей: от выполнения школьных правил поведения, от домашней уборки – а что убирать, если в доме ничего нет. Ни-че-го. Столи две кровати с досками вместо сетки, сухие веничи (стебли трав) вместо матраца и рядюшка, чтоб от холода накрыться ночью. Холодная плита, на которой ничего не варится. Нас дважды за этот год обокрали свои же сельские родичи и соседи. Мама, неграмотная безработная с тремя малолетками на руках, от горькой безысходности нашла единственный выход. Она запила.

А началось это так. Зашла к нам в гости соседка. Все ее звали баба Домка, говорили, что их семья богатая. Дочка Катя работает на мясокомбинате, мясо едят они каждый день. Я не верила этим рассказам. Как можно мясо есть каждый день? Мясо едят по праздникам, а их каждый день не назначают. Но в тот день баба Домка нам устроила праздник. Тяжело переваливаясь на кривых ревматических ногах, она опустилась на табурет возле импровизированного стола, покрытого вместо скатерти какой-то то ли серой бумагой, то ли старыми газетами, долго, подслеповато прищурившись, осматривала пустую кухню, посмотрела на маму, оглядела нас и достала из сумки одуряюще вкусно пахнущий сверток и маленький кувшинчик.

«Наверное, там молоко», – подумала я. Развернув сверток, баба Домка достала кусок кровяной колбасы, немного хлеба и попросила стакан.

«Сейчас нальет молока!» – ликовала моя душа, и бурно урчал голодный желудок, ликуя, как и я, в предвкушении молока.

Ах, если б я знала последствия этого праздника. Если б я могла предположить, сколько горя принесет нам то, что было в кувшине, я бы разбила его на мелкие-мелкие осколки. И наша мама, наша милая мама не стала бы со временем пьяным зверем, избивающим своих детей всем, что попадет под руку, пропивающим нашу маленькую пенсию за три-четыре дня, обрекая на медленную голодную смерть, постоянный позор от слов, бросаемых вслед: да это Гали пьяницы байстрюки. Тяжело вздохнув, кивнув своим мыслям, баба Домка налила в принесенный стакан вина и сказала:

– Галочка, выпей стаканчик вина, а я хоть посмотрю, потому что пить не могу, мне нельзя.

Мама выпила. И впервые со дня похорон засмеялась, а мы поели колбасы с хлебом. Больше практически мы трезвой маму не видели. Сначала чуть под хмельком, она всё глубже увязала в пьяном угаре. В замутненном сознании ей виделась такая счастливая ее прежняя жизнь, а отрезвление порождало только еще большее желание не возвращаться в беспросветную нищету.

Андрей Красулин

Танкист на масловке

Год сорок девятый или пятидесятый. Я учусь в МСХШ (Московская средняя художественная школа). Мы с другом Саней Белашовым идем от Верхней Масловки, где мастерская его матери, на Беговую. Зима, холод, страшно скользко. Нас окликает еле бредущий на двух протезах парень в шлеме танкиста. Он сильно и привычно нетрезв. Мы ведем его, подхватив с двух сторон. Он идет в пивную, небольшое кирпичное строение. У входа в пивную он сует руку в карман и протягивает нам горсть мелочи. Мы отказываемся. Он сыпает мелочь в карман. Потом сдергивает с коротко остриженной солдатской головы танковый шлем и громко говорит:

– Перед Лениным Владимиром Ильичом я снимаю... а идола грузинского...

Дальше идет длинная матерная фраза.

Мы идем в сторону Беговой, в столовую авиамоторного завода, на котором написано большими буквами «ФАБРИКА-КУХНЯ». Там кормят всех, не только рабочих завода. И в зале стоит древний автомат. Выбиваешь чек, и продавщица дергает рукоять – льется сто пятьдесят грамм водки. Но мы тогда еще не пили.

Людмила Улицкая

Грудь в орденах

Василий Иванович был сосед по коммуналке. Как мне казалось, старик. Пил он по-черному. Трезвым я его никогда не видела. Но даже в пьяном виде он был милый и улыбочивый, только падал часто. Всегда у него на лице была какая-то отметина – то синяк, то ссадина. Жена его – сильно пьяного – домой не пускала, и он довольно часто засыпал на полу возле нашей двери – приглянулся ему наш половичок или просто идти было недалеко. И в пьяном, и в трезвом виде был он миролюбив и застенчив.

Двери наших комнат были друг напротив друга. Уже когда я пошла в школу и возвращалась домой, взрослая, семилетняя, с ключом в руке, я часто заставала Василия Ивановича спавшим перед порогом нашей комнаты. Я вытягивала вперед руку с ключом, дотягивалась до замка и, перешагнув через спящего в луже Василия Ивановича, закрывала за собой дверь. Я его не боялась. И вообще до сих пор умею с пьяными обращаться. А году в пятьдесят втором он умер. Это были вторые похороны в нашей квартире. За несколько лет до него умер его зять, тоже пьяница, Филипп, но тот был совсем молодым. На большой коммунальной кухне на двух табуретках поставили гроб. И надели на покойника черный пиджак. Но материя видна была только на рукавах, потому что грудь оказалась вся в медалях и орденах. Вот такой был наш пропойца.

Мылись...

Привычное дело: открыл кран, течет вода. Хочешь – холодная, хочешь – горячая. Смесителем регулируется температура. Моется большинство людей каждый день. Не выходя из собственной квартиры – и душ, и ванна...

Трудно даже вообразить, какой радостью и блаженством было мытье в послевоенные годы. Моя бабушка жила в старой квартире, где была ванная комната с большим котлом, который топили дровами. Там же была и раковина – старинная, фарфоровая, в розовых хризантемах, иссеченных трещинами... Топили котел раз в неделю, и тогда меня приводили из соседнего дома, где я жила с родителями.

Сначала ванную занимал дед, он любил мыться чуть ли не кипятком. За ним – все другие члены семьи. Дети – в последнюю очередь, когда вода уже не была горячей. Для моих младших братьев ставили на табуретку прямо в ванную цинковую детскую ванночку, и мне разрешали тереть их спинки мочалкой... Какое счастье – горячая вода, мыло, хрустящее полотенце, белые простыни, пододеяльники, маленькая думочка на подушке, все жесткое от крахмала и пахнущее чистотой... Какая это роскошь – мытье горячей водой с мылом!

Леонид Добровольский В баню в мужской компании

С Сережей и Володей нас объединяло еженедельное совместное хождение в баню. Дело в том, что никаких там ванн ни у кого из нас дома не было, но, что важнее, у нас не было отцов. До какого-то возраста каждый из нас ходил мыться в баню с мамами или бабушками, в женское отделение, но по понятным причинам наступил момент, когда это стало невозможным. Теперь я уже не помню, как мы объединились по поводу бани: то ли наши матери как-то между собой договорились, то ли случайно как-то вышло. Надо себе представить трех восьмилетних мальчишек с огромными эмалированными тазами, в которых лежат свертки с чистым бельем, полотенцами, мочалками и мылом, идущих в Ямские бани, располагавшиеся на нашей улице Достоевского, которая прежде называлась Ямской.

Сначала надо было отстоять очередь за билетами, а затем уже встать в очередь в банный класс согласно купленному билету. Были классы с парной за сорок копеек и так называемый «общий класс» без парной – за тридцать. Ходили мы в баню обычно по пятницам, очереди были невероятно длинные – часа на полтора-два. Не представляю, как у нас хватало терпения их выстаивать. Из «классов» выходили люди с распаренными красными лицами, и через некоторое время банщики объявляли, что могут пройти, например, четверо. Верхнюю одежду принимали в гардероб, там же давался номерок, который соответствовал номеру шкафчика и места на белой деревянной скамейке.

Здесь ты раздевался, вешал одежду в шкафчик и звал банщика, который закрывал шкафчик на ключ. Номерок за веревочку вешался на щиколотку или на запястье – кому как больше нравилось.

Потом шли в мыльную, где прежде всего надо было занять место на мраморной скамье для мытья и захватить пару цинковых тазиков – шаек. Для мытья головы и тела использовался принесенный с собой эмалированный таз, одна шайка с водой ставилась под ноги, а другую обычно наполняли прохладной водой для окатывания.

Захватив скамейку, мы наполняли все тазы водой, клали рядом с ними свои мочалки и мыльницы и шли в парную.

Помещение парной, обычно полутемное с тусклой лампочкой в плотном тумане, стены и потолок – почти черные от копоти. В одном углу – печь с раскаленными большими булыжниками сверху, за дверцей в топке ленивый огонь лижет обугленные крупные поленья. Большую часть парилки занимает деревянная конструкция в виде лестницы с огромными ступенями – полками, на верхнем полке – самая жара, не продохнуть, на нижнем – жарко, но терпеть можно. В тазиках замоченные веники, березовые и дубовые, их продают мужики у входа в баню, но настоящие парильщики приходят со своими. Кто-то с огромным ковшом на длинной ручке кричит: «Посторонись, сейчас поддам!» – и выплескивает с размаха воду из ковша на камни. С верхней полки раздается: «Вот пошло-пошло, хорошо! А ну-ка, поддай еще!»

После каждой поддачи нас обдает жгучим жаром, пронимающим до самого нутра.

Мы жмемся на нижней полке. Кто-то берет брошенный избитый веник, и, подражая мужикам, мы начинаем охаживать друг друга. Эффекта никакого, иногда только больно от царапающих кожу голых веток. Тут кто-нибудь из взрослых вдруг замашет над тобой настоящим целым еще веником, и жар, кажется, проникает в каждую клеточку организма.

После парной, откуда мы в конце концов вылетали пулей, атмосфера зала для мытья казалась благодатью, особенно если после этого окатиться холодной водой из полного таза. Мы принимались за мытье: мылись сами, а потом по очереди яростно терли спины друг другу намыленными мочалками. Кажется, до такой степени чистоты во взрослые годы мне

отмываться больше никогда не приходилось – кожа скрипела, и во всем теле чувствовалась какая-то небывалая легкость.

Одевшись и собрав вещи, мы выходили в вестибюль и направлялись в новую очередь – к пивному ларьку. Здесь мы пили квас или клюквенный морс. Когда стали постарше, то уже выпивали и по «маленькой» – граненую кружку на четверть литра жигулевского пива. Стоила она 11 копеек. Случалось это мероприятие еженедельно по пятницам или субботам.

Вообще в те годы с мытьем были проблемы: либо нужно было идти в баню и отстаивать длиннющие очереди, либо идти на помывку в гости к родственникам или знакомым. В некоторых коммунальных квартирах, где жило по несколько семей, были ваннные комнаты с дровяными колонками. Соседи устанавливали очередь, закрепляя за каждой семьей определенный день недели, дни при этом разыгрывали по жребию.

Мы, бабушка, мама и я, ходили иногда мыться к бабушкиному племяннику, дяде Володе. Дома у него собиралась целая компания. Все приходили со своими дровами – небольшой вязанкой тонко нарубленных сухих чурок, – но, кроме этого, приносили выпивку и что-нибудь из закуски или сладкое. После мытья в ванной, которое растягивалось на несколько часов, все усаживались за стол, и начинался настоящий праздник, иногда даже с танцами под патефон или электропроигрыватель. Кто-то приходил с детьми, и дети, в том числе и я, что-то поев, забирались под стол – другого свободного места не было – и там занимались своими делами.

Татьяна Жданова

Баня

В сороковые и пятидесятые была проблема – мытье. Ведь никаких ванн и душей в наших домах и помину не было. Где и как люди умудрялись совершать свой туалет, особенно женщины, – это особая песня. Но и еженедельное мытье требовало специальных усилий.

Мылись, стоя в корыте. Перед корытом ставили табурет, на табурет – таз. Грели воду в ведрах и больших кастрюлях, смешивали горячую и холодную воду тоже в ведрах или в баках для кипячения белья и мылись. При этом вода плескалась на пол. После мытья ее надо было подтереть, а грязную воду из корыта – вылить в помойное ведро. Одному это было не под силу, надо было позвать кого-нибудь еще. При этом дома должно было быть тепло, даже очень тепло, – стало быть, перед мытьем надо было натопить печку. А перед этим надо было натащить воды с колонки. Словом, забот хватало. Если мыли детей, то ставили корыто на два стула, сажали ребенка в корыто, мыли, потом разрешали встать и обливали чистой водой. Моя тетушка Гера иногда устраивала мне душ: она брала дуршлаг и поливала меня через него водой из ковшика. Мне это ужасно нравилось.

Сама Геруся мылась до пояса каждый день, когда приходила с завода «Красный богатырь». Противный запах технического рыбьего жира и резины въедался в ее кожу, и она старалась отделаться от него. Она часто приносила новые упаковки «Земляничного» мыла, в голубенькой бумажке с узором из ягод земляники, с приторно-сладким запахом. По тем временам это было последнее слово советской косметики, выше могло быть только мыло «Красная Москва». Геруся ставила на стул таз и доверяла мне поливать ей воду из кружки на руки и шею. Потом вытиралась вафельным поло-тенцем.

Тот, кто не желал связываться со всеми этими трудностями, шагал в баню. Бань вокруг было много. Мама Женя ходила со мной в Богородские, а Геруся иногда водила меня в Потешные бани. И туда, и туда надо было ехать на четвертом трамвае, только в разные стороны.

Я гораздо лучше помню Богородские бани. В бане были женское и мужское отделения, иногда их почему-то меняли местами. В бане мыться можно было очень вольготно: и воды сколько хочешь, и лей ее куда хочешь. Однако в бане всегда была очередь. Иногда надо было простоять и просидеть час-другой в ожидании, пока освободится место в предбаннике. Иногда не хватало шаяк. Иногда трудно было найти место, чтобы поставить свои шайки. Но если уж дорвался до всего этого – мойся всласть. Некоторые ходили в баню со своими тазами (эмалированными), шайки же в бане были оцинкованными. Их надо было сначала как следует помыть, потом ошпарить кипятком, и место на лавке тоже надо было ошпарить, чтобы не подхватить какую-нибудь инфекцию. В душ обычно тоже стояла очередь, и женщины торопили друг друга – всем хотелось постоять под струями воды, свободно льющейся сверху.

В банном отделении было душновато, пар поднимался высоко к окнам. Там же была и парная, но мы никогда туда не ходили. Я попала туда, когда мне уже было лет двадцать с лишним.

Как-то раз что-то случилось с краном, откуда текла горячая вода. Пару набралось больше, чем обычно, и в нем вдруг возникла фигура мужчины, вполне одетого, с инструментами в руках. Он деловито, не обращая внимания на обнаженных женщин, подошел к крану, повертел толстую деревянную ручку, что-то там подправил и так же спокойно удалился. Голые женщины испытали легкий шок, но никто в обморок не упал. Стыднее всех, кажется, было мне, пятилетней.

Когда мама Женя мыла мне голову и мыло попадало мне в глаза, я начинала вопить. Мама Женя говорила, что я ору басом, совсем как Поль Робсон. Я не обижалась, потому что он мне очень нравился.

Но мы не очень часто ходили в баню, во-первых, потому, что мама Женя не отличалась повышенной чистоплотностью, а во-вторых, мне кажется, она плохо себя там чувствовала. Однажды она чуть не упала в обморок, уже в предбаннике. Кто-то догадался дать ей понюхать нашатыря, и она пришла в себя. Я очень перепугалась за нее и за свою особу.



В предбаннике рядами стояли диваны с очень высокими спинками. Спинка была одна, а диваны были с двух сторон. На спинках висели крючки для одежды или для полотенец. Женщины шли по дорожкам, разостланным на полу, к своим местам, а детишек чаще выносили из моечного отделения на руках, чтобы они не пачкали ноги, и ставили на диван. Помню, я шла сама: наверное, у мамы Жени не было сил таскать меня на себе.

Один раз мама Женя сказала о какой-то женщине в бане: «Посмотри, какая красивая у нее фигура». Я посмотрела и ничего не поняла: просто голая тетя. Я вообще долго ничего не понимала в фигурах. Лицо – вот это понятно, либо оно нравится, либо нет, а фигура?..

Иногда летом родители не ленились и выносили на лужайку перед нашим домом корыта, наливали туда холодную воду, и мы в трусиках сидели в этих корытах и плескались. Вот было счастье!

Помню, как-то раз, когда у нас в очередной раз отключили электричество, мать зажгла коптилку и устроила мытье в корыте мне и моей подружке Гале. Я, уже помытая и завернутая в полотенце, сидела на кровати и смотрела, как мать поливает Галку чистой водой, при этом свет коптилки ярко отражался в мокрой Галкиной попке. Это было очень живописно.

При всей скудости наших омовений у нас не было вшей. Маме Жене вовсе не хотелось возиться с моими волосами, поэтому меня стригли «под мальчика». Специальных детских парикмахерских не было, поэтому меня просто приводили во взрослую, где маме Жене иногда делали шестимесячную завивку. Когда подходила наша очередь, поперек кресла, на его ручки, клали широкую доску и сажали меня на нее. Стригли меня механической машинкой, которой я сначала боялась, но потом перестала бояться. Но все равно: прикосновение холодной металлической машинки к загривку вызывало у меня какое-то атавистическое чувство ужаса. Вопрос, как постричь ребенка, состоял только в одном: под ноль или с челочкой? На мою голую голову мама Женя надевала отнюдь не панамку, а сооружение своего собственного изобретения – колпачок, сделанный из верхней части старого чулка. Чулок обрезался, его обрезанная часть стягивалась и сшивалась, и туда пришивалась кисточка – получался колпачок. Зачем надо было меня так уродовать, ума не приложу, но сама я ничего не имела против этих колпачков, не то что против фартучков. Меня часто принимали за мальчика или просто дразнили: «Лысый, иди пописай!» Однако о косах я все равно не мечтала, мне было хорошо и так.

Кстати, о волосах. У Геруси были довольно длинные светлые волосы, которые она заплетала в косички. Когда она их расчесывала, на гребешке оставались волосинки. Она их снимала, сворачивала на пальце в колечки и бросала на пол, аккуратистка! Почему-то я их ужасно боялась, они казались мне живыми, при сквозняке они перемещались по полу, как мыши.

Марина Краевская Случай в бане

В 1945 году мне было одиннадцать лет. Мы жили в самом центре Москвы, естественно, в коммуналке и, столь же естественно, без ванной. Организация семейного мытья была делом непростым и, уж конечно, не слишком частым. Родители с утра занимали очередь в ближайшие к нам Чернышевские бани, а я шла в школу. По возвращении присоединялась к ним.

Запомнился случай. Дедушка, рассеянный ученый, далекий от реальной жизни человек, по ошибке вышел прямо из моечного зала мужского отделения в соответствующем (вернее, несоответствующем) виде в общий вестибюль. Никто не был смущен, кроме него самого. Да и до того ли было! Простоявшие несколько часов на улице люди теперь находились «на финишной прямой». Не более получаса отделяло их от вожаемого момента получения маленького кусочка темного хозяйственного мыла (выдавали при входе непосредственно в предбанник всем, и детям в том числе!). А дальше предстояла борьба за шайки, желательны две, попытка что-нибудь простирнуть, что жестко пресекалось администрацией, но неизменно проделывалось: дома еще сложнее. Так кому какое дело до голого мужчины, когда вот-вот сбудется мечта!

Ирина Безуглая Дочка, потри спинку!

...На кухне в цинковых ванночках или тазах купали грудничков и малышей. Ни душа, ни ванной не было, только две уборные по обе стороны длинного коридора, с крупными буквами «М» и «Ж», нарисованными на дверях масляной синей краской. Старшие дети раз в неделю шли с родителями в Усачевские бани, недалеко от рынка того же названия. Мы с подружками не любили ходить в баню, потому как знали, что, едва мы появимся в помывочной, со всех сторон послышится: «Дочка, потри спинку». Мы перетерли тогда много старушечьих спин, искривленных тяжелым трудом, особенно в годы войны. Сейчас думаю, что этим «старухам» было не более сорока – сорока пяти лет.

Одевались...

Мы живем во времена невиданного изобилия. Никогда прежде в мире не было произведено такого количества всяких вещей: обуви, одежды, мебели, посуды... Вещи дорогие и дешевые, хорошего качества и плохого и, как предел презрения к самой материи, – вещи одноразовые. Всего много, даже слишком много. Ломятся от вещей шкафы, ломятся и помойки...

Дома у меня стоит швейная машинка, кабинетный «Зингер», подаренный моей бабушке на свадьбу весной 1917 года. Очень был своевременный подарок: на этой машинке бабушка обшивала всё семейство чуть ли не до самой смерти. Я помню эти семейные вещи, которые проживали много жизней, – пальто долго «строили», покупали материю, подкладку, ватин, бортовку, воротник, пуговицы, потом бабушка раскладывала ткань на полотне, рисовала обмылком чертеж, кроила, долго и пристально корпела, делала множество ручной работы, а под конец, сдвинув шаг стежка на максимальный, строчила на машинке, подправляя ткань руками и покачивая ногой чугунную подножку... Пальто долго носила моя мама, потом его перелицовывали, и оно служило еще десяток лет, потом оно перевоплощалось в юбку и в жилет, и последнее, уже предсмертное существование: круглая перочистка, сшитая из темных лоскутков изношенного сукна, прошитая посередине красным шнурком, варежка-хваталка для кастрюли. Бывший воротник перевоплотился в стельку... Такое семейное пальто следовало бы сохранить как музейную реликвию, но это невозможно, поскольку оно отслужило до последней нитки. Гордые, уважаемые, почтенные вещи, которых теперь не стало. Изобилие испортило наше отношение с вещами: мы перестали их уважать и ценить.

Давно умерла бабушка, но до сих пор, когда мне нужна розовая нитка или зеленая пуговица, я нахожу их в ящичке швейной машины. Другой мир, другая культура. Мне до сих пор нравятся эти строгость и скудость, и нравится всё реже встречающийся особый женский талант обращения с мукой, сахаром, шерстью, полотном и шелком...

Людмила Кожурина Всепогодные сандалии

– Ты зачем надеваешь босоножки, дождик ведь?

– Так потому и надеваю, что вода тут же выльется и нога быстро высохнет.

Это обо мне беспокоятся дети: я собираюсь по делам на целый день. Мое объяснение их невероятно смешит. Но ведь правда, дело привычки.

В детстве на каждое лето мне покупали одни сандалии и одно ситцевое платье. И то и другое снашивалось в дым, потому что сандалии были всепогодные, а платье стирали в субботу после бани, и к утру оно было готово к дальнейшей носке.

Сейчас у меня есть туфли, и не одни, юбок-платьев хватает, но на каждый сезон я подбираю что-то одно, «любимое», что ли. Прошлогодную юбку не надену, пусть и хорошую. Новую сделаю.

Кстати, это «сделаю» осталось с тех самых пор, с перешиваний и перелицовок всего, что еще не полный хлам. Этим занималась мама, она сама эти платьица «делала» – мне и себе. В пятидесятые годы, когда я посещала детский сад, у меня было штапельное платье старушечьей расцветки, темно-зеленый фон и мелкий горошек, причем подол с одного боку отвисал – видимо, ткани было не настолько много, чтобы выкроить детали правильно, вдоль нити, а не поперек. Я это платье сильно не любила, чем и запомнила. Другой особенностью платьев, которые мама шила мне в детстве, было отсутствие карманов. Видимо, за нехваткой времени или ткани опять же. Но ребенок не на все неудобства может посетовать, потребовать карманов – непредставимо. Тем более что вместо карманов мы, маленькие девочки конца пятидесятых, использовали штаны. Это нам так повезло: штаны у детей были в виде панталон, с резинкой у колена. Как теплые, «на байке», так и «простые», хлопчатобумажные, – их тоже мама шила. Штаны были длиннее, чем платье, и в старшей группе девочки их «подбирали», подкручивали, чтоб не выглядывали. То еще ощущение толстых колец вокруг ног. Но я ведь не о красоте, а о карманах.

Этот жест – подобрать что-то с земли и засунуть за гачу, за резинку – он памятен. Мы так делали. Яблоко недоеденное туда, мелок, маленькую куколку. Однажды по дороге в сад – а в садик мы ходили самостоятельно, причем я даже ездила на автобусе, – так вот, видно, в автобусе я и подобрала тюбик губной помады. Естественно, засунула за гачу. На прогулке показала девочкам, они крутили-смотрели и крышку потеряли. В общем, я и без крышки – за гачу. А после тихого часа началось: воспитательница, увидев меня, завизжала, дети замерли, я тоже посмотрела на себя: вся в алом. Помада эта, значит, растаяла и потекла. Панталоны в тот день у меня были ярко-желтые. «Лимонного цвета», как их хвалила моя мама.

Моя мама умела похвалить всякую дрянь. «Ешь, ешь, килька чуть с душиком, ароматная... вот каша пшенная – она на воде такая остренькая получается, вкуснотища... картошечка-то с разварочки, хороша, ничего к ней и не надо». Ботинки – «еще крепкие, не промокают», пальто – «как новое, рукава совсем не протерлись». Костюм клоуна, который она мне сшила из матрасной ткани, – «загляденье, а не костюм». И так, казалось, всё нормально у нас, хорошо живем.

Когда мне надо было идти в первый класс, встал вопрос о белом фартуке. Первая идея у мамы была – из отбеленной марли, и, если накрахмалить... Но она остановилась на кухонной занавеске: хорошая бязь, где у нас хлорка? Ленты в косы она «сделала» из своего старого крепдешинового платья – «благородные ленты»!

Эта нищета (мама врач, отец инженер) в нашей семье не проходила. Когда мне надо было торжественно вступать в пионеры перед лицом своих товарищей, мама сделала мне

галстук из куска бордового сатина, аккуратно так руками обметала тряпочку. Уголки сразу скрутились в трубочки, и это было не разгладить.

Ну, тебе уже десять лет, ты видишь, что есть у подруг, что им покупают, в то же время ты замечаешь, как окружающие уважают твою мать, вообще семью. И ты спрашиваешь: почему у нас нет этого, того. И получаешь укрепляющий завет:

– Вот как ты видишь богато одетого человека, какходишь в дом, который от добра ломится, – знай: это нехороший человек, это плохой дом. В нашей стране честные не могут быть богатыми.

Радикально, конечно. Но тогда спасало и от зависти, и от преклонения, и от униженности – дружить не мешало. А в случае намека на мой скудный гардероб я вытаскивала козырь: «Зато мы ездили к морю». Это доставало. Тогда мало кто выезжал в отпуск. Считалось, пустое. То ли дело – люстру купить.

А тоску людей по большим путешествиям утоляло радио. И все самозабвенно пели: «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы».

Леонид Добровольский «Комбинации»

Одеваться тогда приходилось довольно сложно: и мальчики, и девочки носили чулки, пристегнутые резинками к лифчику, сверху натягивались шаровары с начесом, шерстяной или байковый свитер, а поверх всего – пальто на вате с меховым воротником или шубка. Кроме того, надевались теплые вязаные варежки на резинке, чтобы не потерять, и длинный шерстяной шарф, который несколько раз оборачивался под воротником пальто и часто завязывался на спине. Еще пальто или шубка подпоясывались ремнем, чтобы снизу не задувало, а на голову одевали меховую шапку с ушами, которые завязывались под подбородком.

Отдельная тема – обувь: зимой тогда носили валенки с галошами, а позже – суконные боты с резиновым низом, которые одевались поверх ботинок. При этом, конечно, еще одевались и теплые вязаные носки. Особым шиком были так называемые бурки – сапожки из специального толстого сукна с толстой утепленной подошвой и отделанные кожей. Такие бурки стоили очень дорого, и носили их только дети из очень состоятельных семей. Говорили, что бурки очень теплые, практичные и ноские, сам я это подтвердить не могу – носить их не пришлось.

Большинство детей в то время одевали в перешитые из вещей родителей или старших братьев и сестер платья и костюмы, которые назывались «комбинации», поскольку для их пошива использовали куски разных тканей, выкроенные из старой одежды. Например, девичье платье могло иметь различные верх и юбку, а также кокетку и рукава из другого материала. То же было и в мальчишечьей одежде: пиджачки или курточки, брючки, составленные из двух-трех типов тканей.

Мальчики примерно до десяти-двенадцати лет носили тогда в основном либо короткие штаны – выше колен, либо так называемые «брюки-гольф» – штаны чуть ниже колен с манжетой или резинкой, плотно охватывающей ногу. В праздничном варианте под пиджачок или курточку надевали светлую рубашку, украшенную жабо или бантом. Очень многие дети, мальчики и девочки, и в будни, и в праздники носили нечто вроде лыжных байковых костюмов.

Помню, как мы с бабулей тянем за веревку детские санки, груженные торфяными брикетами, по узенькой тропинке, протоптанной на тротуаре между высоченными, выше меня, снежными сугробами. Вообще с топливом для печки, торфяными брикетами и дровами связано множество эпизодов того времени, запечатлевшихся в моей памяти, равно как и бесконечные очереди за яйцами.

Наталья Гаврилова Красное платье

В школу я пошла в первый послевоенный сентябрь. Была я маленькая, худенькая, читать и писать не умела, букв никаких не знала. Надо ли говорить, что никакой подготовки к школе в те годы не было и все первоклашки узнавали азбуку, цифры, учились читать и писать уже сидя за партой.

Моя мама считала меня не готовой стать школьницей, ей хотелось оставить меня еще на год в детском саду. Строгие правила не позволяли семилеткам, а мне в мае исполнилось семь, посещать детский сад, и в августе я была «по возрасту» отчислена. Мама по этому поводу сильно сокрушалась, а так как деть меня было некуда, то и отвела меня в школу.

Видимо, особого впечатления это событие на меня не произвело, потому что ни свой первый школьный сентябрь, ни начала учебы я не помню. Пытаясь вспомнить свою первую учительницу, вижу размытый облик молодой женщины, имени которой память не сохранила, но зато живо помню, как мне становилось не по себе, когда слышала я ее произношение: «свекла́ и моркошка». При любом удобном случае я громко и четко, как мне тогда казалось, говорила: «свёкла и морковь». Еще помню, что писать чернилами разрешили мне одной из последних в классе, дольше многих писала я палочки и кружочки карандашом. Маму моя учеба в первом классе не заботила. Лишь изредка она интересовалась, сделала ли я уроки, и, услышав ответ «сделала», больше ни о чем меня не расспрашивала. Так спокойно, без особых событий пролетел мой первый учебный год.

И вот я уже получаю табель с одними пятерками, получаю и подарок – мою первую в жизни награду за отличную учебу. Подарок завернут в бумагу, и я узнаю от учительницы, что это отрез ситца мне на новое платье. Счастливая и гордая, бегу домой, одной рукой прижимая к груди бумажный сверток, а в другой бережно держа листочек-табель и чернильницу-непроливайку. Бегу быстро, со всех ног; завидя маму на нашем огороде, кричу во все горло: «Мама, мама! Я отличница, отличница, отличница!» Она смотрит на пятерки в таблице, потом как-то удивленно на меня и тихо говорит: «Молодец». Но ведь это еще не всё! У меня в руках подарок! Отрез ситца на новое платье – так сказала моя учительница. Мама разворачивает сверток, и луч майского солнца ослепительным светом падает на ткань ярко-красного цвета с белыми горошинами. От этой красоты у меня захватило дух, замерло, а потом радостно забилося сердце, волна счастья накрыла меня с головой. Я уже вижу себя в новом красном платье и нетерпеливо спрашиваю маму, когда она сошьет мне новое платье, но мама говорит: «Нет, Натка, нового платья у тебя не будет. В воскресенье на базаре мы продадим этот отрез и купим семенной картошки. Нам нечем сажать огород, ведь свою семенную картошку мы почти всю зимой съели». Кончилось счастье. Обида и горе свалились на меня. С плачем убегаю и долго отсиживаюсь в темном углу сарая.

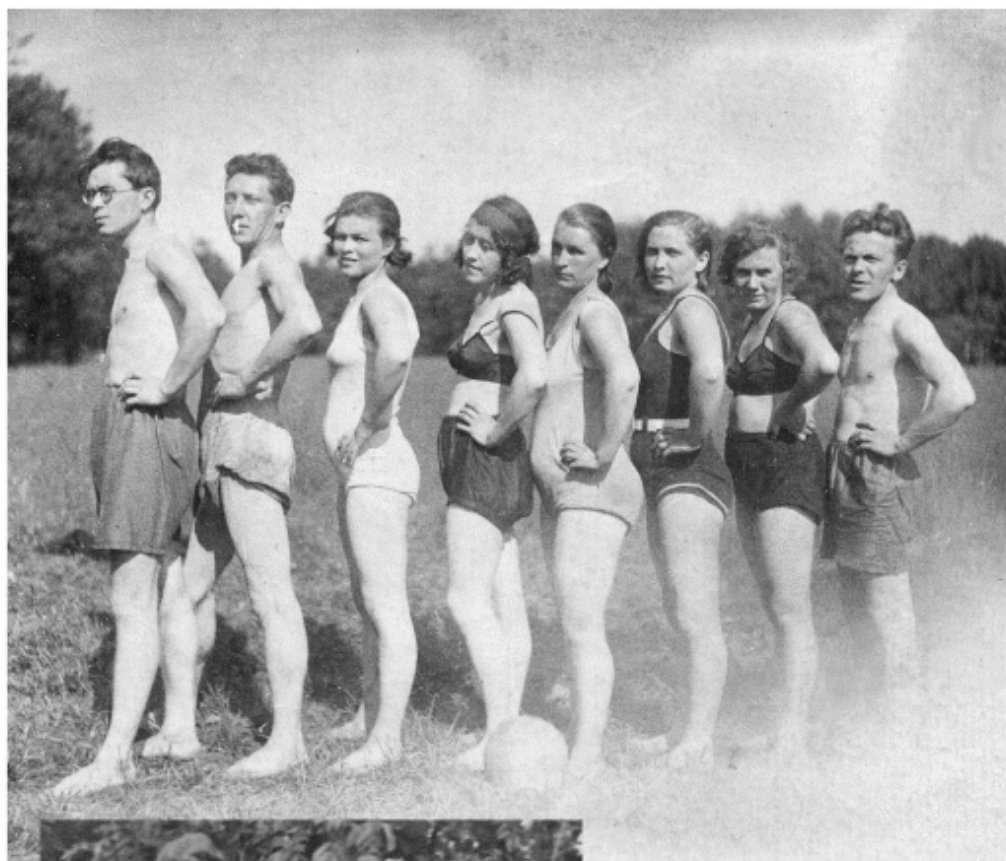
В детстве горюют недолго, отгоревала и я, ведь впереди меня ждали каникулы, летние солнечные деньки, речка, лес, ягоды, подружки. В тот день я дала себе обещание, что когда-нибудь у меня непременно будет ослепительно красное платье.

Шли годы, появлялись обновки, но как-то так получалось, что никогда у меня не было ничего красного, так никогда и не довелось мне наряжаться в королевский красный цвет. А всё оттого, что мне – сероглазой блондинке – красный цвет вряд ли был бы к лицу.

Елена Шор Один сапог

...А еще в Москве были барахолки, где можно было продать-купить всё что угодно. Я знала две из них – Преображенку и Палашевский рынок. Торговля на Преображенском рынке начиналась прямо от станции метро «Сталинская» (ныне «Семеновская»). Море людей толкалось, протискивалось туда-сюда, держа в руках то, что хотели продать.





Однажды мы с сестрой поехали туда покупать ей сапоги. Видим человека: держит в руках один сапог, демонстрирует, дает примерить. «Второй, – говорит, – вот он, в коробке». Сестра просовывает руку в коробку, нащупывает голенище... Примеряет сапог. Всё в порядке. Расплачиваемся, суем второй сапог в коробку, приезжаем домой. Не терпится обуть новые сапоги! Лезем в коробку и видим: там один сапог и свернутый в трубку кусок грубой кожи.

Владимир Розанцев

Две истории о смерти вещей

История с поркой

Прошло уже очень много лет, но я до сих пор с огромным стыдом вспоминаю историю, которая случилась со мной, восьмилетним мальчиком.

Я жил в комнате с отцом и матерью Верой Петровной, или тетей Верой, как ее все звали в нашем дворе. На лестничной клетке в соседней квартире жила подруга матери, тоже Вера, с дочкой, и тоже Верочкой.

Мы с Верочкой родились с разницей в четыре часа. Когда мы стали чуть постарше, нас во дворе стали дразнить «тили-тили тесто, жених и невеста». Это повторялось почти каждый день. Меня эта бесконечная насмешка очень смущала и тревожила.

В 1947 году, когда я учился во втором классе, меня эта «шутка» стала изводить. Весной этого года мама Верочки сшила ей новое пальто. Пальто было голубенькое с маленьким беличьим воротником и очень шло девочке. Где ее мама смогла достать материал в такое тяжелое послевоенное время, было удивительным. Она всегда старалась свою дочку одеть получше. И вот однажды во дворе нас опять стали дразнить, и я решил, как-то ничего, в сущности, не понимая, обидеть Верочку. Придя домой, я взял безопасную бритву отца и, при очередной насмешке, распорол спину ее голубенького пальтишка. Испугавшись сделанного, я закричал: «Верочка, у тебя пальто сзади разрезано!» Дети, которые всё это видели, тут же сказали, что я сам ей пальто разрезал.

Вечером мама, услышав эту историю, пришла в ужас. Как она будет теперь глядеть в глаза подруге? Будучи женщиной больной и нервной, она всегда сдерживалась, когда я что-нибудь вытворял. Но тут... Она замочила ремень, сдернула с меня штаны и отстегала по одному месту, повторяя при этом: «Чтобы тебе было неповадно». Никакие слезы, рыдания и мольба «Мама, прости, я больше никогда не буду!» не остановили экзекуцию.

И эти удары и шлепки я запомнил на всю жизнь. До этого меня никогда не пороли. Мне кажется, именно с этого момента я начал что-то понимать в жизни. Я этой порке благодарен. А пальто было потеряно безвозвратно: никакая художественная штопка не могла бы его спасти.

История о беличьей шубке

Удивительное свойство памяти: подчас я совершенно не могу вспомнить, что было два-три года назад, а стоит закрыть глаза и подумать о своей родной школе, как я отчетливо вижу первый класс, в который я поступил в 1945 году.

1 «Д» был сформирован в конце августа и был пятым по счету. В него попали дети, которые по разным причинам ранее не были записаны в школу. Среди таких был и я, мама умолила директора втиснуть меня в этот класс. Наша Малая Грузинская улица делила собой два района: Краснопресненский и Советский. Нечетные номера домов относились к первому району, а четные – ко второму. Мы жили на нечетной стороне. А мама, ничего не зная о том, что можно учиться только в школе своего района, по прописке местожительства записала меня в Советский район, где учился в четвертом классе мой кузен. Придя в школу накануне 1 сентября, она испуганно увидела, что в списках меня нет. Так я оказался в незабываемом 1 «Д» школы № 82 Краснопресненского района.

Что же это был за 1 «Д»? Сейчас, по прошествии более шестидесяти пяти лет, сегодняшнему поколению очень трудно себе представить. Буквально бурса по писателю XIX века Помяловскому.

Дети войны. У большинства учеников отцы погибли на фронте. У многих мальчиков не было мам, и жили они с кем-нибудь из родственников. Возраст детей в классе колебался от семи до одиннадцати лет. Основная масса ребят жила крайне бедно. Одежда не по размеру: переделанные отцовские гимнастерки, большие сапоги или ботинки, шапки-ушанки. Наша классная руководительница, окончившая гимназию в дореволюционное время, со слезами на глазах смотрела на нас. Мы за глаза называли ее старухой и завидовали ребятам других классов, у которых учительницы были очень молодые.

Я жил в конце Малой Грузинской улицы, ближе к Белорусскому вокзалу, а школа находилась в районе Красной Пресни, и ходить до нее было достаточно далеко. Моя мама очень переживала, как я буду переходить два переулочка по дороге в школу. С этого края улицы нас было только трое ребят, и для многих учеников класса, живших поблизости от школы, мы были «чужаками», так что было не избежать пинков и тумачков. Но среди нас троих был один десятилетний парень по прозвищу Царь, прошедший колонию и вызволенный оттуда родной теткой. Это была колоритнейшая фигура, этакий Мишка Квакин из повести А. Гайдара «Тимур и его команда». Его боялись все, вплоть до учителей. В рваной одежде, лохматый, с горящими глазами и обязательным окурком во рту, он был на голову выше всех в нашем 1 «Д».

Бедная классная руководительница не знала, как с ним справиться. Особенно страдала учительница пения – интеллигентная пожилая еврейка. У нее на лице был ужас, когда он появлялся на уроке пения, хотя прогуливал его почти постоянно. Однажды он принес в класс большое оконное стекло и грохнул его об пол, когда учительница отвернулась, играя на разбитом стареньком пианино. Она испуганно закричала и бросилась из класса за директором. Исключить его из школы было невозможно, поскольку он был сыном погибших родителей.

Никто в классе не любил опрятных и аккуратных мальчиков, которых встречали и провожали мамы или бабушки. Вспоминается случай: когда мама одного из учеников привела своего сына в новой беличьей шубке, которую привез из Германии возвратившийся с войны отец, в классе произошло событие, потребовавшее вмешательства директора школы.

Мы в начальных классах снимали верхнюю одежду прямо в классе и вешали пальто на крючки к прибитой на стене доске. Вестибюль школы тогда не работал, было в нем холодно, да и вещи постоянно пропадали.

Так вот, висит эта красивая шубка, и весь класс внимательно на нее смотрит, и каждому хочется ее потрогать. Царь на перемене приказывает классу: «Давайте, ребята, мех пощупаем и по перышку повыдергиваем». Через два дня от шубки ничего не осталось.

Разгневанная мамаша добилась того, что Царя из школы исключили. Мне было его бесконечно жаль: он являлся для меня, маленького шкетя, надежной защитой и в обиду не давал, всегда заступался. Дальнейшей судьбы его я не знаю, да и фамилию не помню, кроме прозвища Царь. Возможно, он стал вором или, может быть, кандидатом наук – сказать трудно.

Людмила Фрейдлин Демисезонное пальто

К тринадцати годам мне сшили первое, как мама его называла, демисезонное пальто. До этого жакетку сразу сменяло теплое пальто. Я выходила из дома и сейчас же расстегивала пуговицы – мне казалось, что я дымилась в этом пальто на ватине. Раздражала веревочка на шее, к которой были пришиты варежки, чтобы не потерялись. Такие же мучения приходилось переживать и в апреле.

Демисезонное пальто давало возможность ощутить в полной мере прелесть весны и осени, а зимней новинкой стали ботинки на меху – «румынки». До их появления на той же толкучке спасались в холода валенками или стегаными бурками с галошами. Модницы носили молочного цвета фетровые боты.

Бурный протест у меня вызывали шерстяные шапочки, вязанные из ниток разного цвета. Я сопротивлялась как могла, но мне такую нескладуху все-таки купили. Уже вся школа ходила в этих шапчонках, квадратных, если их держать в руках, и заломленных верхушкой внутрь, если надеть. Короткую моду пережили фетровые шляпки без полей, по форме схожие с селедочницами. У них было отталкивающее название – «менингитки», и тут, слава Богу, мои и родительские вкусы сошлись.

Школьная форма мне нравилась: коричневое шерстяное платье с черным фартуком и тоненьким белым кружевом вокруг шеи. Для торжественных случаев имелся белый фартук из штапеля. Мама сшила для платья черные сатиновые нарукавники, и оно служило мне много лет. К началу моей студенческой жизни его перешили, заменив школьную стоечку на отложной ворот, а еще через несколько лет, обрезав рукава и воротник, превратили платье в сарафан, под который можно было надеть любую блузу. А из моего долгожданного демисезонного пальто со временем соорудили немереной красоты вещь – куртку с шалевым воротником, фигурными манжетами, хлястиком и крупными пуговицами.

Всю одежду шили: от сарафанов до пальто. «Справить пальто» было мероприятием серьезным и небыстрым. Надо было «достать» сначала ткань, потом подкладку (саржу), ватин, пуговицы, на толкучке купить меховой воротник и отдать все это богатство в ателье, куда ходили в течение месяца, а то и полутора на три-четыре примерки. Все вещи шились с подпушкой и запасами по бокам, поскольку носились годами, расшивались и сужались по мере надобности.

Хорошая портниха по тем временам была фигурой уважаемой в обществе...

ИГРАЛИ...

На картине великого нидерландского художника Питера Брейгеля «Детские игры» изображена часть улицы воображаемого города, на которой двести пятьдесят детей играют в восемьдесят четыре различные игры. Это подсчитали современные искусствоведы, а специалисты по культурной антропологии подтвердят: это все или почти все игры, которыми забавлялись дети в тогдашней Европе. Прошло четыре столетия с тех пор, как Брейгелем нарисована была картина, и в огромной послевоенной стране России, о которой он, скорей всего, и слухом не слыхивал, во дворах воспроизводился тот же неизменный детский мир. Искусствоведы полагают, что изображенные на полотне детские игры – образ всего человеческого бытия. Дети, забавляясь, разыгрывают сюжеты взрослой жизни – в войну, в дочки-матери, в магазин, в профессиональные игры, с одной стороны, и в игры-соревнования, смысл которых – достичь победы лично или командно...

Сегодня, прожив начало следующего, двадцать первого века и отмечая скачкообразные перемены во многих областях человеческого бытия, связанные с прогрессом науки и

новых технологий, мы уже можем сделать первые предварительные выводы: закончился тот период человеческого детства, который проходил на улице, во дворе, связан был с землей, водой, животными и растениями. Время коллективных и стихийных детских игр закончилось. Сегодняшние дети играют с электронными игрушками и компьютерными приложениями. Конечно, любимый зайчик или собачка еще укладываются спать в детскую кроватку, но их, плюшевых и бессловесных, уже готовы сменить тамагочи, имитирующие одновременно собачку и младшего братика.

Скорей всего, мы не сможем разорвать это логическое кольцо: сначала изменились люди, а потом их детские игры, или, напротив, изменились детские игры и меняются в соответствии с этим дети. Так или иначе, современные дети почти не знают игр пятидесятилетней давности. Бабушки и дедушки с отвращением рассматривают наладонник, который заменяет всё: и куклу, и ружьишко, и лапту... И рассказывают о своих играх послевоенного времени.

Эдуард Буйновский Игры нашего двора

Пока родители на работе, мы были предоставлены сами себе. Двор был для нас местом, где мы, собираясь стайками, учились жизни во всех ее проявлениях. Здесь тебе и своеобразный Интернет, и секции, и кружки...

Моя память хорошо сохранила не только названия наших дворовых игр, но и «технологии» их проведения. Я даже помню отдельные случаи, когда мне доставалась победа или всеобщее дворовое признание и почет.

«Лямочка», «расшиши», «пристенок», «чижик», «лапта», «штандер», «скакалки» – названия, конечно, непрезентабельные и могут вызвать усмешку у современной детворы. Пусть! А мне дороги именно эти игры нашего детства.

Несколько лет назад я был на спектакле Театра Марка Розовского «Песни нашего двора». В качестве декорации – настоящий московский двор пятидесятых годов, где артисты исполняли популярные послевоенные песни. Тогда меня чуть ли не до слез растрогал сам Марк Розовский, когда он продемонстрировал, как играл в «лямоchку» в своем далеком военном детстве.

«Лямочка» (в других дворах она называлась по-другому) – тяжелая старинная монета или что-то просто сравнительно тяжелое, упакованное в кусок плотной ткани (получалось что-то типа воланчика для современного бадминтона). И вот такой самодельный «снаряд» нужно внутренней стороной ступни поддать несколько раз. Мой одноклассник Марк Розовский сегодня сумел это сделать три-четыре раза. А некоторые наши «асы» – за один заход десятки раз! Соревновались. Проигравшие гоняли по двору с целью поймать эту самую «лямоchку», которую победитель старался как можно дальше отправить ударом ноги. Игра только мальчишечья.

Были и «денежные» игры типа «расшиши» или «пристенок». Нам, дворовой мелюзге, просто нравились само участие в таких играх, но никаких корыстных целей мы при этом не преследовали. Ребята постарше играли в эти игры с «меркантильным» интересом, отбирая у нас, мелкоты, наши «кровные» копейки, причем на законном основании.

В «расшиши» играли так: проводится на земле черта, участники игры кладут свой «пай» в виде столбика из монет (обычно пятнадцатикопеечных), причем все они – на «орле» или «решке». Далее каждый с определенного расстояния бросает «биту» как можно ближе. Тот, кто бросил битку ближе всех к линии, бьет первым по этой самой стопке. Оказывается, это большое искусство – ударить по стопке так, чтобы все монеты или большинство из них перевернулись с «орла» на «решку» или наоборот. Такие монетки попадали в карман бившего. Оставшиеся из стопки монеты достаются остальным участникам этой игры. Бывает и так, что последнему из очереди бить уже и не по чему – остатки стопки «разбрелись» по карманам более счастливых участников.

А вот «пристенок». Рядом со стеной дома рисуется квадратик, куда участники складывают свой пай, – это «казна». Далее каждый из участников поединка своей монеткой (отработанное, хорошо отлаженное личное орудие получения финансовой прибыли) бьет о стенку так, чтобы его монетка попала в «казну» или выбила из нее как можно больше монет. Это – в карман бьющего. И так по очереди, пока монетки из «казны» не перекочат в карманы участников. Играли азартно, с шумом-криком, с коллективным обсуждением удачного удара участника этой игры.

Если удавалось скопить за неделю или выиграть немного денег, мы обычно тратили их на коллективные «культурные» мероприятия. Тоже любимая наша игра – лапта. Здесь играли и девчонки. Мы тогда не очень церемонились с прекрасной половиной нашего дво-

рового общества. Помнится, отбивающаяся команда «выбивала» члена противоположной команды сильнейшим ударом тяжелого мяча, не думая, в кого он попадет – в мальчика или девочку.

Вообще-то наши девчонки принимали активное участие практически во всех наших «мальчишеских» играх. Кроме, может быть, «денежных». К числу таких совместных игр относились «штандер» (игра с мячом), «в салочки» (бегали друг за другом). Лично мне нравилась игра «в садовника», когда мы все садились в один ряд на лавочке и где по ходу игры у нас, мальчишек, была возможность дотронуться до девочки. В других случаях на это был строжайший запрет. Ведь наши тогдашние воспитатели мудро решили, что в советской стране дети – мальчики и девочки – должны учиться только в разных школах. Поэтому двор был единственным местом, где мы могли общаться. Мальчишки также, не стесняясь, участвовали в «девчачьих» играх – «классики», «скакалки». Например, с двух сторон две девчонки крутят разными руками в разные стороны две скакалки. Нужно умудриться вскочить в такое «сооружение», да еще и попрыгать там сколько сможешь. Здесь иногда перевес был на нашей, мужской стороне.

Мы ведь были дети военных лет. Поэтому как же без игры «в войну» или «казаки-разбойники». В качестве декораций к таким играм нам служили полсотни разбитых американских «Студебеккеров», припаркованных в ожидании ремонта на заводе, который еще с дореволюционных времен базировался в глубине нашего двора. Какие «маневры», какие «диверсии», какие «рейды» и «заходы в тыл» противника мы делали среди обломков этих огромных машин! На зависть, кстати, мальчишкам с соседних дворов.

Были и опасные игры. В те далекие годы коньки («снегурочки»), привязанные веревкой к валенку, – основное средство передвижения по льду. Но лед – это каток на стадионе МВО в Лефортовском парке. Туда еще надо дойти и заплатить за вход. Поступали проще. Делался крюк из хорошей проволоки, выходили на Танковый и ждали редкого грузовичка. Догоняли, цеплялись сзади за борт крюком, и так, с ветерком, – до конца нашего переулка. Особой опасности не было, ибо любой транспорт на нашей улице тогда был явлением редким.

Ирина Безуглая Пароль «Победа»

В нашем большом асфальтированном дворе было несколько газонов, где ничего не росло, кроме сорняков, но зато на ржавой пластинке, привинченной к деревянному колышку, имелась грозная надпись «По газонам не ходить!». Она снималась осенью, и тогда мы, городские дети, могли уже бегать и валяться на жухлой траве, иногда влажной после дождя. Этот запах я хорошо помню.

Зимой мы во дворе катались на санках, они были почти у всех, самодельные или сохранившиеся довоенные, а вот коньки – настоящие, трофейные – были только у одной девочки, но она их берегла и не надевала, а появлялась во дворе, неся на шнурках через плечо. Не знаю, может быть, она выросла, пока отец привез ей эти коньки, и они ей сразу были малы? Мне папа пообещал достать где-нибудь коньки и принес, но... только один. Я укаталась на одном коньке так, что еле добрела со двора до подъезда и рухнула, а потом на четвереньках ползла по коридору до своей комнаты, громяхая о деревянный пол. Я и до сих пор не очень люблю коньки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.